

вой педагогической среды душком бригадного метода. Я, товарищи, был в школе, где работает Бирюков, подробно ознакомился на месте с его работой, не в пример предыдущему оратору я сужу не по наитию. И те выводы, к которым я пришел, беру на себя смелость утверждать, не голословные выводы...

Он говорил уверенно, проникновенно, и я видел: зал слушает, ему верят и, по всей вероятности, осуждают выступавшего ранее Лещева, который защищал доклад, не ознакомившись с делом, лишь слепо веря докладчику на слово.

9

Пока я разыскивал Валу, ко мне один за другим подошли три человека. Первый попросил тезисы моего доклада, второй адрес, чтоб можно было впоследствии связаться, третий просто выразил свою признательность.

Этот третий был высокий, с седыми висками и горделивой посадкой головы. Он отрекомендовался директором одной из городских школ. Я его с досадой спросил:

— Вы говорите, я прав. Тогда почему же вы это не сказали там?.. — я кивнул в сторону дверей конференц-зала.

— Видите ли, — спокойно улыбаясь, ответил он, — кроме эмоций, я пока ничего не смог бы предложить. Надеюсь, что еще выступлю в вашу защиту, но попозднее, с фактами, с собственными наблюдениями. Поверьте, ваш доклад, разбитый и разруганный, не пропал даром. — Помолчал и добавил: — По крайней мере для той школы, в которой я работаю.

Он вежливо со мной простился.

На нижнем этаже у выхода я наконец увидел Валу. Она разговаривала с Лещевым. Морщинистое лицо старика сияло счастливой и смущенной улыбкой.

Валя заметила меня, подалась навстречу:

— Андрей! Иди скорей. Ты знаешь, кто это?

Лещев, повернувшись ко мне, продолжал смущенно и счастливо улыбаться — узкоплечий, в тесном пиджаке, как провинившийся ученик, робко опустивший руки по швам.

Я протянул ему руку:

— Спасибо за поддержку. Вы хорошо выступали.

— Андрей, да это же Лещев! Помнишь, я тебе рассказывала, что переписываюсь с одним учителем? Это он тебе прислал рукопись Ткаченко.

— Ах, вот что! Я все думал: где это слышал вашу фамилию?

— Сколько лет переписывались и ни разу не встреча-

лись, — взволнованно говорила Валя. — Я вас точно таким представляла себе. Точно таким!..

— Валентина Павловна подошла сейчас ко мне и спрашивает... Боже ты мой!.. Вы так много для меня в жизни значили!.. Простите, моя старая голова идет кругом. Не выбраться ли нам поскорее из этих стен на свежий воздух?

Мы вышли на улицу.

Где-то за высокими городскими крышами погромыхивал гром. Улицы были мокры от дождя, мимолетного дождя, которого никто из нас, находившихся в стенах института, не заметил. От городского сада, названного суровым именем старого революционера, погибшего на виселице за попытку убить царя, тянуло влажным запахом цветов.

Заговорили о моем докладе, о выступлении Столбцова.

— Этот Столбцов и меня обхаживал, — сообщил Лещев, — восторгался: «Ах, новатор, ах, у вас все должны учиться, ах, на уроках арифметики вы приносите ведро воды!..»

— Вот как! Значит, это он про вас мне рассказывал, — припомнил я. — Вы заставляли считать учеников, сколько капель в ведре...

— Рассказывал и, наверное, хвалил? — подхватил Лещев.

— Хвалил.

— И это ему не помешало с умным видом толковать: узко, мол, нет обобщений... В этом Столбцове особый стиль проявляется. Я бы его назвал стилем прогрессивного карьеризма. Откапывается какой-нибудь человек со свежими мыслями, поднимается вокруг него шум, а потом под этот шум с расшаркиванием человека топят без угрызений совести и без жалости. Таким Столбцовым нужен только шум, нужна деятельность, и не простая, а благородная. Быстрее заметят, быстрее выдвинут. Столбцов бы с полной охотой и не продавал вас, но не продавать — значит помогать, чем-то поступаться, быть может, идти навстречу неприятностям. А уж тут, пожалуй, вместо того чтобы подниматься, того и гляди загремишь вниз, да еще с травмами, с увечьями...

Я слушал и вспоминал, как Павел обнимал меня за столом, вспоминал, как он цел проникновенно и растроганно студенческую песню: «Конерник целый век трудился...»

Наш новый знакомый остановился и принялся прощаться. Он рад, очень, очень рад был с нами встретиться,

он верит в мою правоту, верит в победу, верит еще и потому, что на моей стороне Валентина Павловна, а где Валентина Павловна — там справедливость, быть иначе не может! Он жмет нам руки и вдруг, повернувшись к Вале, подавляя смущение, говорит:

— Валентина Павловна, простите, не могу унести после встречи с вами что-то неясное... — Лещев с беспомощной растерянностью смотрит на меня.

— Вы хотите спросить, — спокойно произносит Валя, — кто мы друг другу?

— Я хочу спросить, не случилось ли у вас, Валентина Павловна, несчастье в жизни? Вашим мужем был, я помню...

— Другой человек. — Лицо у Вали независимое, подчеркнуто горделивое. — Я не собираюсь скрывать от вас: мой муж жив и здоров, но... но я хотела бы, чтобы моим мужем был он. — Валя сдержанно указала на меня взглядом. — Больше ничего не могу добавить, потому что и сама пока ничего не знаю, ни на что не надеюсь.

— Я вас понимаю... Да, да, понимаю... Поверьте... — Лещев снова стал с нами прощаться.

Локоть к локтю мы направились с Валею к гостинице, оба сурово молчащие, оба чуть подавленные этим объяснением.

— Одну минуточку! Одну минуточку! — Нас догонял запыхавшийся Лещев. — Прошу вас на минуточку!..

Простодушное лицо каждой своей морщинкой выражает тревогу, подбежал, схватил одной рукой Валину руку, другой мою, с трудом переводя дыхание, заговорил:

— Поверьте, понимаю вас... Не могу уйти... Вы должны знать: понимаю, отношусь с уважением... Да, да... И желаю... Как глупы слова! Желаю обоим вам счастья... От всей души... Прощайте... Был бы рад, если б когда-нибудь моя помощь пригодилась... Не так-то просто быть полезным тем, кого искренне уважаешь...

Он махнул нам рукой и скрылся за прохожими.

А прохожие не спеша, не обращая на нас внимания, шли мимо, все празднично неторопливые в этот вечер, принаряженные, веселые, беспечные — редко увидишь озабоченное лицо. Широкие витрины изливали на них яркий свет, в липовой листве горели фонари, шипя скатами по мокрому асфальту, проносились автомашины.

И Валя вдруг прижалась ко мне:

— Я все-таки счастлива. Какая жизнь, сколько волнений! Я бы хотела, чтоб волнения не кончались.

Она счастлива. Я не мог этого сказать о себе.

Идут по-праздничному принаряженные прохожие, говорят о своем, смеются, наслаждаются освеженным после дождя воздухом...

Вечер еще не кончился, а в гостинице нас ожидал новый сюрприз. Едва мы вошли, как мимо нас к лестнице устремилась странная публика: женщины в накинутых на плечи легких плащах и пыльниках, из-под которых раздувались старинные кринолины, мужчины в долгополых сюртуках с зачесанными бачками; у одного раздвоенная борода, по толстому животу золотая цепь — ни дать ни взять купчина середины прошлого столетия.

— Что это? Маскарад? — удивилась Валя.

Швейцар гостиницы, седой, морщинистый, словоохотливый, как деревенская старуха, ответил:

— Артисты. Из Москвы кино приехали снимать. У нас живут. Тут на втором этаже комната, где их наряжают. Приедут на автобусе и сразу же быстренько туда. Глядишь, выходят, как все люди. А вон этот у них вроде самый главный.

Швейцар указал на плотного мужчину с подстриженными усиками, тяжелым, с залысынами лбом и маленькими глазами, запавшими под этот лоб.

Я уже мимоходом видел его в гостинице. Это было сразу же после нашего приезда. Наскоро умывшись, сменив сорочку, я вышел из своего номера, ждал Валу, мерял шагами холл четвертого этажа. Валя задерживалась. И мне начинало казаться, что она, оставшись наедине в своем номере, одумалась, трезво взвесила последствия, испугалась и не хочет выходить, не хочет больше меня видеть. Я вглядывался в длинный гостиничный коридор с уходящей вглубь ковровой дорожкой, поминутно глядел на часы... В это время прошел он, приземистый, твердо ступающий, с устремленным вперед лбом. Я взглянул на его спину, и спина с крутым затылком, покоящимся прямо на широких плечах, показалась мне знакомой. Я поспешно отвернулся, я не хотел никаких знакомых, я мечтал быть среди чужих людей один на один с Валей.

Сейчас он шел прямо на меня, и я почувствовал, что его глаза пристально вглядываются из-под тяжелого лба. Походка с развалочкой, крупная голова, лежащая вплотную на плечах, и я узнал его:

— Стремянник! Юрий!

Брови удивленно поднялись, из-под рыжеватых жестких усов блеснули белые зубы, он протянул мне руку:

— Кого вижу!

— А помнишь ли?

— Хорошо помню. Андрей... Сколько лет прошло? Десять? Нет, больше... Простите.— Он повернулся к Вале.— Стремянник Юрий Сергеевич, старый знакомый Андрея.

С непринужденностью столичного человека он взял протянутую Валей руку, склонился, приложил к ней свои жесткие усы. Валя зарделась. Я, глядевший на нее в селе Загарье, как на воплощение городского изящества и простоты в обращении, сейчас увидел, что она провинциалка, застенчивая, милая провинциалка, не умеющая скрыть смятенной смущенности. А каков тогда я рядом со Стремянником, небрежно одетым в какую-то куртку с накладными карманами, я в своем парадном костюме, купленном два года назад в магазине райпотребсоюза?..

— Как ты? Как живешь? Впрочем, не отвечай. Поднимемся ко мне в номер, там расскажешь.

В тесном номере с двумя столами — письменным, заваленным бумагами, и круглым, покрытым дешевой скатертью, — принесли из ресторана полуостывший ужин и бутылку вина. Стремянник заставил меня рассказывать. Он смотрел на меня незнакомым мне тяжелым, немигающим взглядом, чуть обрюзгший, начинающий лысеть: видно было, по нему крепко проехала жизнь. Я рассказал все, кроме одного, что Валя не моя жена. Она же, притихшая, с чуть приметным румянцем на щеках, казалось, более красивая, чем обычно, переводила взгляд то на него, то на меня.

— Так, так... — задумчиво произнес Стремянник. — А я часто вспоминал тебя. Не веришь?

— Не верю.

— Ты вот толковал о своих делах, я в них не разбираюсь, но, если б пришлось выбирать, на чью стать сторону, не задумываясь, стал бы на твою.

— Откуда такое доверие?

— Ушел из института в пустоту, в неизвестность, просто оторвал себя и ушел. Не всякий бы сумел так сделать.

— Ты до сих пор этому удивляешься. Не пойму, что тут особенного?

— Особенное. Самому себя осудить, самому себе вынести приговор, привести его в исполнение... Я сейчас ставлю

вторую самостоятельную картину. Старика Островского с его разгульными купчишками тащу на экран. До этого снимал на современном материале. Ты учился на художника, можешь себе представить, как приходится искать, даже отчаиваться, пока не найдешь то, что кажется тебе нужным. Кончил работу, и тут появились наставники, не особенно задумываясь, не страдая, не отчаиваясь, они начали кромсать: не так, невыразительно, перекроить, переделать, плевать нам на твои поиски, на бессонные ночи! Сами они не ломали, не резали, они заставляли ломать и резать автора. Вот в то время я и вспоминал тебя. Я пошел против себя, против своей совести, а ты бы не пошел, ты бы бросил работу, ушел из режиссеров в грузчики. Как мне тебя не вспоминать, когда ты был для меня постоянным укором! Теперь вот прячусь за Островского: авось этот матерый классик подопрет мой авторитет, убережет от переделок. А мне хотелось бы показать, как сейчас живут люди, чему они радуются, над чем грустят. Хотелось бы помогать им, быть их советчиком, твоим советчиком, ее советчиком, советчиком какого-нибудь рабочего. Что мне купцы-кутилы, цыгане, страдающие любовницы прошлого века! Бегу во вчерашний день, вместо того чтобы вглядываться в будущее...

Он сидел, подперев висок кулаком, изучающе смотрел на меня. Я же приглядывался к нему, к его непривычным усам, к его незнакомой усталости в глазах. Встретились два человека, встретились на половине жизни. И у меня и у него еще мало сделано, и у меня и у него еще есть впереди время. Оно-то и беспокоит: как прожить? Одинаковое беспокойство у двух разных, ни в чем не похожих по биографии людей.

— Ты не можешь сказать, что получилось из ребят, с которыми я учился? — спросил я.

— А кто тебя интересует? Помнишь Сережку Ковалевича?

— Помню. С нашего курса.

— Работает у нас на студии. Толковый художник. Хотел бы, чтоб у меня работал. А Саблина помнишь?

— Не-ет, что-то не припомню.

— Он старше тебя, раньше пришел в институт. Ушел из кино, выставляется... У вас, кажется, учился такой Гавриловский?

— У нас. Вроде меня бездарь.

— То-то и оно, что не вроде тебя. Благополучно окончил институт...

— Благополучно?!

— Ну, что значит благополучно? Без высоких баллов, в хвосте, но окончил. В кино тоже не работает. Что-то рисует, в каких-то ходит организаторах, кого-то учит. Встретил как-то — нарядный, видный, отрастил солидную бороду, судит обо всем свысока.

— Считает, наверно, что жизнь удалась прекрасно.

— Наверно. А впрочем, кто знает... И такому, пожалуй, тоже постоянно хочется большего: больших заработков, большего авторитета...

Я жадно вслушивался в каждое слово Стремянника. Мое прошлое! Я не старик, в моем возрасте прошлому не отдаются целиком. Когда думают и говорят о том, как жил, что делал, то всегда взвешивают, что еще не сделано, как дальше жить. Эти полузабытые мною имена не только пожелтевшие страницы моей биографии, не просто любопытные окаменелости моей жизни. Нет, мне до болезненной страсти хочется знать, как складывалась жизнь у других. Быть может, в их счастье, в их удачах я смогу угадать свое собственное счастье, свои пока еще не пришедшие ко мне удачи. Но такая удача, как у Гавриловского, не вызывает у меня зависти. Пусть себе живет и преуспевает.

— У нас училась Эмма Барышева, — спросил я, — помнишь?

— Толстушка такая?

— Да. Как она? Талантливая девчонка.

— Как?.. Вот не скажу. Ничего не слышно о ней.

— О Гавриловском слышно, а о ней нет?

— Наверно, вышла замуж и...

— И?..

— Дети, суета семейная — канула, случается и такое.

— Случается.

Почему-то тоскливо сжалось сердце. Что мне Эмма Барышева, не близкий человек, даже знакомы постольку-поскольку — приходилось стоять бок о бок за мольбертами, — а меня волнует ее судьба. Канула?.. Она забыла свой этюд — туфли под койкой, а я его до сих пор помню: разношенные туфли, чуть покрытые пылью, поблескивающие в полутьме пряжками, будничные туфли — частица чьей-то простенькой жизни. Канула! Несправедливо!

— Поздно, — спохватился я. — Не пора ли нам, Валя, раскланяться с хозяином?

— Не держу, — согласился Стремянник. — Сегодня встал в семь утра, а завтра надо подниматься в шесть. Едем снимать катание на лодках с цыганами. Только вы-

пьем на прощание. Вряд ли мы еще встретимся, Андрей. А жаль... За что бы нам выпить?

— Не будем оригинальничать, — ответил я, поднимая свой стакан, — выпьем за то, за что все пьют,

— За здоровье?

— Нет, за успехи.

— За успехи, за то святое время, в которое они произойдут. За твои успехи, Андрей! Жаль, что не встретимся, мы были бы хорошими товарищами... У тебя есть товарищи?

— Есть.

— Много?

— Один и еще несколько, не считая тех, которые продают.

— Один? Вот за этого одного я и выпью. — Стремянник повернулся к Вале. — Пью за вас.

— Выпейте за мое святое время, — подсказала она. — Я хочу, чтоб оно у меня было не хуже других.

— За ваши удачи. Пусть они придут как можно быстрее!

Мы выпили, простились и ушли.

В номере Валя опять сказала мне задумчиво:

— Все-таки я счастлива. Очень счастлива!.. Ты этого не поймешь.

Нет, я не понимал. Мне было жаль ее. Она счастлива сейчас, счастлива только минутой. В таком счастье признаются с отчаяния. Мы лишь отмахиваемся от того, что нас ждет.

11

Мы снова в поезде, снова сидим у окна, снова с прежней солидностью разворачивается перед нами земля: зеленые невыколосившиеся поля, мутная синева далеких лесов, столбы, березки, колокольни, крыши, дороги. Только солнце перевалило за полдень, только суше выглядит зелень, нет той утренней свежести, которая была в нашу первую поездку.

Мы молчим, каждый думает об одном — о том, что поезд сделает пятиминутную остановку на маленькой станции, нам придется там сойти, придется ехать в Загарье. Мы даже не скрываем друг от друга своей подавленности, голова к голове глядим в окно: поля, дороги, шлагбаумы, крыши.

Почему бы нам не остаться еще на день-другой в городе, побыть вместе, продолжить, насколько можно, наше не-

прочное счастье? Нас никто не торопил, никто не требовал срываться с места, не выживал из обжитых номеров гостиницы. Но даже Валя, твердившая о том, что она счастлива, даже она с какой-то боязливой поспешностью стала вдруг собираться в дорогу.

Нам слишком хорошо было вдвоем, и это пугало, тяготило нас, в конце концов не стало сил выносить неверное счастье. Бежать от него, пусть в Загарье, но бежать! Велик белый свет, много в нем разных городов, сел, деревень, и дорога нам никуда не заказана. Но мы можем ехать только в Загарье, которое нам сейчас страшнее любой чужбины. Едем туда...

Мы ничего не решили, ничего не придумали, что делать, как поступить, — едем навстречу полной неизвестности. Но мы оба твердо знаем, что это не конец, что после этих дней мы не можем уже расстаться чужими друг другу, не можем уже быть и друзьями, какими мы были раньше. Что-то будет!

Стучат колеса, отмечая на рельсах стык за стыком, секунды за секундами, метр за метром ближе Загарье. Телеграфные столбы мимо окна, сверкающий белыми стволами березнячок, залитые солнцем просторы полей, влажная полутьма ельника. Стучат колеса...

У Вали серое, какое-то поблекшее лицо. Я сам чувствую, что оступел от беспокойных, тягостных, ненужных, мыслей. Стараюсь думать о другом — о школе, о работе...

На вокзале перед отходом поезда я купил газету. На третьей странице я наткнулся на большую статью. Она называлась «Совершенствовать учебный процесс в школе», автор — П. Столбцов.

Тут же на вокзальной скамейке, среди чьих-то чужих узлов и чемоданов, прижавшись друг к другу, мы прочитали ее.

Нет, эта статья не походила на выступление Павла при обсуждении моего доклада. Начиналась она с высоких рассуждений о подрастающем поколении, о великих задачах воспитания. Дальше шли критические замечания о перегрузке школьников, о непродуктивности уроков. Об этой непродуктивности я, помнится, говорил Павлу, но как он старательно обкатал мои мысли, как постарался сгладить все острые углы! И только после такой подготовки начался разбор моего доклада: «затронуты принципиально верные положения», «сам факт поиска новых путей — явление положительное», но «далек от совершенства». Никаких резких выпадов по моему адресу, но и достоинства поставлены

под вопросом, так себе — легкие шлепки и снисходительное поглаживание.

— Как тебе нравится? — спросил я Валью.

Она отобрала у меня газету, скомкала и выбросила в урну.

— Забудем об этом Столбцове, — сказала она.

Я согласился его забыть. Я даже на самом деле забыл его, хотя и знал, что по приезде в Загарье мне напомнят о нем, еще как напомнят! Но до того ли мне сейчас, есть заботы важнее.

Поезд подходил к нашей станции. Показалась рыжая водонапорная башня, появились станционные здания. Вот и сам вокзал, позади которого находится скверик, где я и Валя ждали поезда, откуда и началось наше путешествие, скверик с чахоточными деревьями и водопроводной колонкой на кирпичном фундаменте.

К поезду прибыли машины. Они ждут у самого перрона: два грузовика, почтовый «газик» и старая, потрепанная по районуному бездорожью райкомовская «Победа». Возле нее, засунув руки в карманы, закусив папиросу, стоит Ващенко, вглядывается из-под полей шляпы в окна вагонов. Мы его заметили одновременно и переглянулись. Это был наш последний открытый взгляд свободных людей. Через минуту мы уже не имели права глядеть так друг на друга.

Он подошел к нашему вагону быстрым шагом, с выражением откровенной радости на лице. И в ответ на эту радость Валино лицо ответило спокойной, чуть снисходительной веселостью. С таким лицом она, наверное, привыкла его встречать из затяжных командировок. Он обнял ее и поцеловал, привычно, с родственной озабоченностью, как целует муж жену.

— Как съездила? Все ли в порядке?

— Потом расскажу. Едем. Устала.

— Здравствуйте, Андрей Васильевич. Как ваши дела? — Он глядел на меня своими маленькими, близко поставленными к переносице глазами. И глаза его были добрые, наивно-голубые, какие обычно бывают у детей и стариков.

Оттого, что я был глубоко виноват, чувствовал себя перед ним преступником, оттого, что он с откровенным дружелюбием глядел на меня, во мне вспыхнуло против него раздражение: что он строит из себя наивного, он, умный, опытный! Ему знакомы житейские каверзы. Лучше бы подзревал: не приходилось бы выносить тогда эту неприличную двусмысленность.

Я ответил ему сдержанно:

— Далеко не все благополучно.

— Осложнения какие-нибудь?.. Ну, без них не бывает.

Он еще ничего не знал, сегодняшняя областная газета со статьей Павла Столбцова прибыла сюда с нашим поездом. Ее сейчас отвезут в село, распределят на почте по адресам и лишь завтра утром разнесут по домам.

— Без осложнений не бывает,— повторил Ващенко.

А я, чтоб он не увидел моего неприветливого лица, поспешно нагнулся за чемоданом.

Меня посадили рядом с шофером, Ващенко и Валя усадились на заднем сиденье. Он имел право сидеть рядом с ней. Мы еще близко, я еще слышу ее голос, но мы уже расстались, она чужая и говорит сейчас чужим голосом.

— Наталью Павловну видела? — спрашивал Ващенко.

— Два раза заходила,— поспешно, без запинки отвечала она.— Никого не видела. К Тетюховым тоже не собралась зайти... Ходила в театр, в кино, была вот на обсуждении доклада Андрея Васильевича. Ты знаешь, кого я там встретила? Лещева!..

Валя боялась вопросов Ващенко, потому была излишне словоохотлива. Она лгала. Мне был неприятен ее оживленный голос, но осуждать ее я не мог. Как ей поступать? Если б мы что-то решили, если б знали, что нам делать. Нет никаких решений, нет планов, единственный выход для нее, как это ни неприятно, как ни унизительно,— лгать. Она лжет и не стыдится передо мной.

Солнце опустилось. Впереди, над колючим лесом, куда поднималась пыльная дорога, на полнеба разлился зеленый закат. В этом прозрачно-зеленом разливе плавала Венера — крупная бледная звезда. Загарье близко, за лесом начнутся поля, за полями покажутся крыши первых домов.

Я до сих пор не верил, что прошлое можно вернуть. Оказывается, можно, по крайней мере на время.

Когда машина въехала в село, остановилась, я, захватив свой чемодан, простился.

— До свидания, Валентина Павловна.

Опять она для меня не Валя, а Валентина Павловна, опять «вы» в обращении. Все по-старому.

12

В школе нет занятий, поэтому вставал я поздно, не спеша завтракал, перекидывался за столом равнодушными фразами с Тоней, не спеша шел в школу.

Все стало для меня безразлично. Поражение на ученом

совете — плевать, предательство Павла — о нем и не вспоминал, а выжидание Коковиной, ее молчание, не обещающее ничего хорошего, замыслы Василия Тихоновича, с которыми он носится с прежним упорством, то соболезнающее, то настороженное отношение учителей ко мне после газетной статьи — все к черту, ни о чем не хочу думать.

Я вспоминал. Вся моя жизнь теперь состояла из воспоминаний тех удивительных дней, которые я провел вместе с Вале́й. И чем мельче, чем незначительней события приходили на память, тем больше наслаждения они мне доставляли.

Болезненные наслаждения! Тоня за завтраком мне рассказывала, что младшие сыновья Акиндина Акиндиновича устроили на крыше сарая клетку для голубей. Наташка тоже лазает с ними, а крыша худая, долго ли провалиться... Она говорила, а я глядел на ее чужое, знакомое до тоскливого отупления круглое лицо с маленьким жестким ртом, а сам думал о том, как, набродившись по городу, мы уселись на скамейке. Возле нас ковырялись в песке дети. Валя сидела, опираясь локтями на колени, выставив вперед плечи, веки у нее опущены, но глаза под светлыми ресницами живут, с затаенной улыбкой следят за играющими детьми. А лицо спокойное, разглаженное, ни мысли на нем, ни желания — вся отдалась отдыху, ничего ей больше не надо, достаточно того, что есть: солнца, то скрывающегося, то прячущегося за облаками, легкого ветерка, неподвижности, моего тихого соседства. Я тогда мог взять ее за руку, почувствовать влажное тепло ее ладони, перебрать ее тонкие пальцы. Я не сделал этого. Теперь жалею...

А утро в гостинице, пустынный город, усталый свет фонарей, пение птиц в росяной зелени скверика... Мы не испытывали тогда радости, мы были подавлены, нас пугало будущее. И вот это будущее наступило — оно скучно, серо, безрадостно, но вовсе не страшно. Стоило тогда думать о нем, стоило портить счастливейшие минуты! Эх, если б вновь повторилось! Если б опять сидеть перед окном, смотреть на пустынный город, на непотушенные фонари, слушать птиц.

А после того как расстались с Лещевым... Смоченная дождем зелень, асфальт, отражающий огни фонарей, спящие витрины, праздничная вереница прохожих... Валя мудрей меня, она быстрее почувствовала радость, первая признала ее: «Как я счастлива!» — и прислонилась плечом...

Я еще сомневался в этом, я не решался согласиться с

нею. Теперь вспоминай, кусай кулаки — все, что случилось тогда, неповторимо, прежнее не вернется. Она прислонилась, теплая, доверчивая — сейчас я готов кричать от нежности.

Повернуть бы все обратно, повторить бы сызнова, если б возможно такое чудо — остаться в тех днях, видеть ее, слышать ее, быть рядом с нею.

Просто не верится, что она сейчас живет рядом. Десять минут ходьбы — и ее дом, ее лестница, ее дверь! Что стоит пойти туда, подняться по лестнице, открыть дверь и сказать: «Не могу больше! Нельзя жить! Нет сил терпеть эту муку!..» Десять минут самым вялым, самым медленным, самым неуверенным шагом до ее дверей. Рядом же! Не за тридевять земель!

Люблю! Но чего-то жду, не осмеливаюсь прийти к ней, сказать, нет, не просто сказать, а потребовать: «Идем со мной!» Потребовать так, чтоб не ослушалась. А Наташка, а семья, а люди, а как глядеть потом в глаза Ващенкоу? То-то и оно, не хватает ни сил, ни решимости перешагнуть через все это.

Так прошло три бесконечных дня, три тяжелых ночи. Утром четвертого дня я направился, как всегда, в школу. По улице пропылила райкомовская «Победа». Я не успел заметить, сидит ли в ней Ващенко. Там мог сидеть и Кучин и другой райкомовский работник. Но мог и Ващенко... Машина выскочила на мост, обдала пылью бревенчатые перила и скрылась во Дворцах.

И у меня появилась решимость пойти к Вале, только сейчас, только не откладывая на другой раз.

С тяжело стучащим сердцем я поднялся по лестнице. Вместо страшных слов: «Не могу. Нельзя жить», — я спросил:

— Вы дома?

Она вышла из комнаты в выцветшем халате, непричесанная, с остановившимся взглядом. Она не бросилась мне навстречу, а стояла, положив руку на горло, и жадно смотрела.

— Вот... Решил зайти... Не мог...

Она опустилась на дощатый диванчик, стоявший в прихожей, я сел рядом с ней. Она припала к моему плечу и заплакала. Я стал гладить ее спутанные волосы, вздрагивающие плечи, гладил, что-то говорил, а сам еле сдерживался, чтобы не разрыдаться.

— Что же делать?

— Не знаю.

— Я кругом изолгалась... Я противна себе... Он начинает догадываться...

— Догадываться?.. Может, это к лучшему?

— Он хочет уехать отсюда.

— А ты?.. Ты хочешь уехать?

— Не знаю.

Она плакала, я гладил ей плечи. Ни на что не было ответа.

— Иди,— сказала она, освобождаясь из моих рук.

— Я посижу еще.

— Зачем? Так хуже.

— Я не могу уйти.

— Нет, иди. Если ты здесь останешься, будет походить на воровство. Я не хочу этого. Ты мне нужен не на день, не на вечер. Иди...

Я покорно ушел.

А она мне разве нужна на день, на вечер? Тоже на всю жизнь она нужна мне! Я теперь это твердо знаю. Нельзя ждать решения со стороны, надо самому решать.

13

Тоня тоже стала замечать, что после поездки в город я очень изменился. Возможно, ей даже кто-то из досужих осведомителей успел что-либо шепнуть на ухо. Она смутно догадывалась, но эта догадка была так страшна для нее, что она не решалась высказать ее вслух, только ко мне приглядывалась, иногда пробовала расспрашивать о городе.

— Как там? Весело было? Не один, чай, ездил, было с кем проводить время.

— Весело,— отвечал я скупо.— Ты видишь, какой я веселый оттуда приехал.

И она умолкала, у нее не было прямых доказательств. Мою утрюмость, мое нелюдимое настроение можно объяснить еще и провалом при обсуждении доклада, предательством Павла, его статьей в газете.

Я же пытался решить тяжелый вопрос: оставить мне Тоню, дочь, дом, уйти и начать новую жизнь? Валя ни словом, ни намеком не давала мне понять, что ждет от меня такого решения, но я знал: ждет, не может не ждать, не она мне, а я ей должен приказать, позвать ее.

Наташка... По утрам, как и прежде, возле моей подушки появляется ее милая рожица. Она всегда встает раньше меня. У нас с ней крепкая дружба. Я для нее всемогущий и всеумеющий, и, если у меня есть свободное время, а оно не

часто случалось, для Наташки большой праздник. Летом в солнечные дни мы мастерили большого змея — две лучины крест-накрест, крепкая бумага и веревочный хвост с двумя пустыми катушками из-под ниток на конце. Этот змей поднимался выше крыши нашего дома, выше старой березы, выше всего в селе, даже выше колокольни старой церкви. Я передавал упругую, гудящую на ветру бечевку в слабенькие ручки Наташки, приказывал крепко-накрепко держать и бежать бегом, сам бежал вместе с ней, вместе с ней смеялся и радовался, только что не визжал от восторга вместе с ней.

А в ненастные осенние дни мы с ней читали книги. Она знает всего четыре буквы, из которых складывается ее имя, книг же сама читать не умеет, зато умеет их внимательно слушать. Ох, эта милая сосредоточенность и углубленность на детском лице, а ее счастливый смех, когда выстроганный из полена Буратино бьет деревянными кулачками папу Карло по лысине!.. Мы еще умели с ней вдвоем искать на необитаемом острове спрятанные пиратами сокровища. Для этого нам не надо было уходить из дому, мы могли путешествовать, сидя за столом, склонив головы к большому листу бумаги. На этом листе моя рука рисовала контуры неизвестного всему миру острова с заливами, реками, озерами, болотами, скалами. Нас двое отважных путешественников, вооруженных ружьями и лодками. Мы плаваем по реке, на нас нападают крокодилы, мы стреляем диких кабанов, разводим костры (они помечаются на листе красным карандашом), жарим свинину. И, конечно, в конце концов мы находим пещеру, где стоят бочки с золотом и сундуки с драгоценными камнями. Мы радуемся и сожалеем. Радуемся, что наше путешествие так удачно окончилось, сожалеем, что оно все-таки окончилось.

Наташка! Гляжу ли на нее, просто ли вспоминаю — чувствую: нет сил уйти, нет смелости решиться.

Держит меня и непонятная жалость к Тоне. Я ее не люблю, мне тяжело на нее глядеть, и все-таки она мне не посторонний человек.

Держат даже стены дома. Теперь, когда задумываюсь, что придется расстаться с привычной, годами налаженной жизнью, невольно открываю для себя неприметные до сих пор удобства и прелести. Полки, заставленные книгами. Каждый гвоздь вбит в них с любовным расчетом. Помню, как бегал на промкомбинат, доставал морилку. Тридцатомное сочинение Горького — первая крупная покупка из моих книг — было для меня праздником. Мой старый ра-

бочий стол с лампой, накрытой вылинявшим абажуром, — мой верный друг, мой молчаливый единомышленник! Сколько вечеров проведено за ним, сколько написано на нем бумаги, сколько передумано и пережито!..

Но нет минуты, чтобы я не вспоминал о Вале. Жить и постоянно травить себя мыслями о пей — какая же это жизнь? Не могу не слышать ее голоса, не могу не видеть ее лица. Не могу!

Никогда прежде я не ненавидел Тоню. Без всякого насилия над собой я терпел ее общество. Теперь же я ее ненавижу за широкие бедра, туго обтянутые юбкой, за покато опущенные плечи, за все ее тело со знакомыми, надоевшими щедротами, гибкое, сильное, с несоразмерно маленькой головой. Я ненавидел ее за то, что она живет рядом со мною, что нисколько не похожа на ту женщину, которую люблю. Я сдерживаюсь, глубоко прячу свою ненависть, притворяюсь, нет, не любящим — где уж! — а равнодушным. Жить и постоянно скрывать свою ненависть невозможно. Рано или поздно она прорвется. Я должен решить-ся. Должен! Но как?

Не люблю! Ненавижу! И жалею!.. Как быть?

В самый разгар таких сомнений пришел ко мне Василий Горбылев. Он, как обычно, суров, на его еще больше похудевшем и почерневшем от летнего солнца горбопосом лице выражение упрямой решительности, черные в маслянистой влаге глаза из-под жестких, колючих ресниц глядят на меня требовательно.

Он подсел к столу, положил на белую скатерть темную мослаковатую руку, постучал крепкими ногтями, начал без предисловий:

— Только что от Коковиной...— Сделал значительную паузу, настойчиво вглядываясь мне в самые зрачки, ожидая, что я, как бывало раньше, насторожусь, буду слушать, боясь пропустить слово.

— Так вот, был у нас с этой милой дамой разговор, подымались друг перед другом на дыбки. Обвиняет тебя кругом: в интриганстве против Степана Артемовича, в разваливании школьного коллектива, в прожектерстве...

Василий Тихонович снова замолчал, выжидающе приглядываясь. А я молчал и про себя досадовал: «Эк ведь уставился! Обвиняют в интриганстве, в разваливании коллектива. Да хотя бы в убийстве — пусть себе тешатся! У меня душа не резиновый пузырь — сколько ни суй, растягивается и вмещает. Хватит! Сыт! Того, что есть, переварить не сумею. А Василию не расскажешь. Он весь в за-

ботах — усох так, что нос да глаза остались. Разве поймет?.. Я молчал.

— Не позднее как завтра, в пять часов, — с холодной сдержанностью, по которой я чувствовал — накапливает злость на мое равнодушие, продолжал Василий Тихонович, — собирает Коковина совещание. Цель его — добить тебя, смешать с грязью, со временем освободить из школы. Коковина напугана, что в области ее будут упрекать за Степана Артемовича, за потворство тебе. Ей, как всегда, для собственного спасения нужна жертва. В прошлый раз, спасая себя, она пожертвовала Степаном Артемовичем, теперь жертвой будешь ты. Слушаешь меня или мечтаешь? Жертвоприношение завтра намечается.

— Ну, слышу. Надоело. Сбежать бы...

— Куда...

— Куда глаза глядят.

— Ты болен?

— Нет, здоров.

— Крылышки с отчаянья опустил... Рано. Нужно драться. Нужно перед всеми вывести Коковину на чистую воду. Учителя должны поверить тебе. Тебе, никому другому! Сейчас самый ответственный момент. Смолчишь, руки опустишь — ставь крест на всем деле. Разуверившись в тебе, учителя перестанут и мне верить. Полетит все к чертям под хвост. Запомни: завтра в пять! К этому времени, надеюсь, у тебя настроение изменится.

Он встал, долговязый, узкоплечий, с кадыкастой шеей и черным, ссохшимся лицом, на котором торчал жесткий нос. С подозрительным вниманием последний раз окинул меня взглядом, шагнул к двери, но тут же круто повернулся, снова прочно сел на стул.

— Слушай, — произнес он сурово, — мы с тобой вроде никогда не признавались друг дружке в любви и дружбе...

— А разве нужно?

— Видно, было не нужно, раз молчали. Теперь нужно. Ты доверяешь мне или нет?

— Ну, доверяю. А что такое?

— Без «ну». Могу я тебя продать, как продал тот твой дружок, которому ты в любви объяснялся? Не отвечай, не сомневаюсь, что веришь мне.

— Что это тебя на объяснения кинуло?

— Потому что ты тайшься передо мной. Потому что ты мне не говоришь: что случилось?

— Ничего. Кроме того, что тебе известно.

— Нет, не все известно. Скажи: это верно, что про тебя говорят по селу?

— Мне не докладывают, что про меня говорят.

— Ты с женой Ващенкова какие-то амуры завел. Это правда?

Я поднялся, встал перед Василием Тихоновичем грудь в грудь, спросил тихо:

— Кто говорит?

— Пальцем в таких случаях не указывают.

— Так вот, если опять услышишь, то пришли ко мне такого шептуна. Пусть попробует повторить. И сам знай, что у всякого есть в душе такие уголки, куда не следует влезать чужими руками.

Василий Тихонович постоял, подергивая скулой, повернулся, в дверях бросил:

— Завтра в пять...

Дверь захлопнулась за ним.

14

Да, трудно, да, тяжело, не под силу найти решение, но разве это дает право подводить других? Дело, которому ты решил служить, перестало быть твоим личным делом.

Подвести Василия Тихоновича, подвести учителей, которые начинают нам верить, учеников?..

Утром я сел за стол. Сегодня в пять часов вечера совещание, Коковина готовится нападать. Я должен ответить ей.

Она считает мое дело прожектерством. Хорошо! Но вы, товарищ Коковина, признаете, что перед нашей школой стоит много нерешенных проблем, или же вы считаете, что во всем гладь и божья благодать, не о чем беспокоиться, не о чем задумываться? Нет, вы признаете, что есть еще нерешенные проблемы? Тогда давайте решать. Мои поиски вам не нравятся, мой план вам кажется прожектерским? Предложите другой. Вы не против, чтобы искать, но вам нужны поиски без ошибок, чтобы истина падала с неба в готовом виде. Вы страшитесь заблуждений. Вы даже не можете указать, в чем мы заблуждаемся. Вы не хотите рисковать. Пусть проблемы останутся проблемами, пусть в жизни будут изъяны, лишь бы соблюдалась видимость благополучия!..

Мне пришлось бороться, а вы эту борьбу подаете как интриганство.

Вы обвиняете меня в том, что я разваливаю коллектив

учителей. А я рад, что старый коллектив дал трещину, что часть учителей стала на мою сторону.

Я писал, забыв на время даже Валю. Я чувствовал в себе прилив энергии, ощущал какое-то пьянящее отчаяние, верил, что из предстоящего сражения выйду победителем. На поведение Коковиной не трудно открыть глаза людям!

Я уже заканчивал наброски своего выступления, когда в комнату просунула голову бабка Настасья:

— Тебе тут письмо. На-кося.

Она протянула мне конверт и скрылась. Мой адрес, написанный мелким, несколько растрепанным почерком, обратного адреса нет. Я никогда не переписывался с Валецким, не знал даже ее почерка, но сразу же понял: письмо от нее.

Листок бумаги, покрытый все тем же мелким нервным, растрепанным почерком. Валя писала:

«Андрюша, уезжаю. Это уже решено, этому нельзя помешать! У меня никого больше нет, кроме тебя. Как великому бы тебе служила, воистину беззаветно, без всякой к себе жалости. Это, наверное, единственное, на что я способна. Отвернись от тебя друзья, останься без близких, я бы сидела ночи напролет, когда ты болен, зарабатывала бы на хлеб, когда голоден, не смогла б заработать — воровала бы. Что б ни случилось, была бы с тобой счастлива.

И я отказываюсь от тебя!

Петра переводят в Никольнич. Я все ему сказала, все! Люблю! Не поеду! Уж лучше бы закричал, лучше бы ударил, нет, он только произнес: «Теперь — конец».

Не могу убивать человека. Жалость? Да! Но есть что-то еще, сильнее жалости. Чем счастливее все у меня устроится, тем больше начну думать о нем. Вечное мучение, вечные угрызения — не могу, не могу!..

Теперь — конец...

Ты еще близко. Вскочить, добежать... Никогда ты так близко не будешь. Исчезнешь. И помешать нельзя.

Прости. Нет сил... Валя».

Внизу уже не чернилами, а карандашом, который прорывал бумагу, поспешно, воровски брошены неразборчивые слова:

«Выезжаю второго, к вечернему, в четыре...»

Сегодня второе июля. Письмо написано позавчера. Больше суток шло оно десятиминутное расстояние от Валяного дома до моего. Я взглянул на часы: без четверти два. Она еще здесь. Ни боли, ни отчаянья. Я бессмысленно верю в какое-то чудо.

Во дворе ее дома стоят два грузовика. Один уже нагружен вещами, шоферы набрасывают брезент, стягивают веревками груз. Несколько зевак торчат на улице, глядят, как собирается в дорогу секретарь райкома. Я остановился неподалеку от них.

Пыльный булыжник на дороге. Напротив дом начальника почты Кирюхина обнесен новым, кричаще желтым забором. За железной крышей этого дома вяло склонялся колодезный журавель. Старая черемуха с сухой верхушкой раскинула рябую тень на дощатом тротуаре. Знакомая, как надоевшее лицо соседа, улица. Такой я ее видел вчера, позавчера, месяц назад, год... Я эту улицу буду видеть завтра, послезавтра, через год, быть может, через десять лет. Буду видеть и вспоминать, что здесь жила Валя.

Этот пыльный булыжник, скрипящий колодезный журавель, черемуха, забор, который потемнеет со временем. Что бы ни случилось, какими бы подарками ни осыпало меня будущее, я уже не стану счастливым. Я теперь согласен на все, мне теперь надо мало. Пусть бы шло по-прежнему, изредка бы встречать ее, зная, что она не просто мое воображение, она существует на свете, может пройти по этой улице, ступить ногами по этому булыжнику.

Праздные зеваки, прислонившись к забору, лениво перебрасываются замечаниями:

— Не дай бог так с места срываться! Маета.

— Это нам, грешным, маета. А тут тебе и машины под порог подгонят, и место в вагоне оставят: езжай себе спокойненько.

Во двор из дому вышел Ващенко, озабоченно-сутуловатый, в надвинутой на глаза соломенной шляпе, с какой-то туго набитой авоськой в руках, которую он сунул в кабину машины. Он увидел меня, постоял, опустив руки, и не спеша направился навстречу, вглядываясь из-под шляпы мне в лицо. Я не двигался, ждал.

— Андрей Васильевич, поднимитесь наверх.

Я не пошевелился, ничего не ответил.

— Поднимитесь наверх. Вас ждет Валентина Павловна.

Я неуверенным шагом направился к двери.

Пока я не скрылся в дверях, затылком и спиной чувствовал на себе взгляд Ващенко. Он не пошел за мной следом, остался возле машины.

За моей спиной нагружают машины. В последний раз шагаю по этим ступенькам. Полумрак, обычный лестнично-чердачный запах, неуклюжие перила, отполированные руками. Неужели конец?.. Все еще надеюсь на какое-то чудо. Надеюсь...

Дверь распахнута настежь.

Валя снимала со стены знакомый пейзаж ельничка на болоте. Она не слышала, как я вошел. Ее движения были задумчивы, неторопливы. Сняла с гвоздя картину, взяла с подоконника тряпку, старательно вытерла пыль, протянула руку, чтоб положить тряпку обратно, и... застыла у раскрытого окна.

А из окна слышатся голоса, подвывание стартера, сердитая шоферская ругань. Она стояла и смотрела...

Разгромленная комната, пустые книжные полки, пятна невыгоревших обоев, обшитые мешковинами тюки, рванные газеты на полу, она, неподвижно застывшая у окна. И все-таки я не могу верить, что конец. Я в глубине души продолжаю надеяться на чудо.

Картина в раме со стуком упала на пол.

Валя обернулась. Все! Чудо не случится! Мне передалось ее выражение: на лбу, на щеках судорожно натянулась кожа, собственное лицо стало непослушным, чужим.

Она не двигалась от окна, на ее помертвело застывшем лице с напряженно опущенными углами рта широко открыты с сухим, горячим блеском глаза.

Она первая пошевелилась, старательно обходя картину, валявшуюся на полу, двинулась ко мне. На полпути опустилась на ящик, сжала кулаками виски...

Я глядел сверху на ее опущенную голову, выбившиеся из пучка волосы, прижатые к вискам стиснутые кулаки и молчал. Я мог лишь тупо осознавать: она плачет, ничем не могу ей помочь, не могу вместе с ней плакать.

А из раскрытого окна долетал подвывающий звук стартера. Никаких мыслей в голове, кроме самых простеньких, ненужных, отмечающих события: плачет Валя, одна из машин во дворе не заводится.

Звук стартера смолк, снова донеслась сердитая ругань.

Она отняла от головы руки, поправила сбившуюся юбку на коленях, глядя в пол, глухо, запинаясь, произнесла:

— Андрюша... Ты бы воевал на моем месте?.. Ты бы защищал себя, скажи?..

И эти виноватые, запинаящиеся слова вывели меня из оцепенения. Она не уверена в своей правоте, она ждет ответа. На минуту появилось волчье желание: а что, если

потребовать от нее — перемены решение, не уезжай, останься? Что, если заставить ее защищать свое право на счастье? Свое и мое! Такого случая больше не представится!

А Ващенко?.. Он послал меня сюда, а сам ходит сейчас под окнами. Беспомощный в эту минуту человек — убрать его с дороги? А Валя?.. Я перед ней хочу быть всегда и во всем чистым. Хочу, чтоб она мной гордилась. Она, возможно, даже согласится сейчас: убита, в смятении, любит! Сейчас согласится, но пройдет время — оглянется, вспомнит, что без жалости переехали человека, начнутся угрызения... Что может быть гаже счастья, устроенного на чужой беде?

Я молчал. Валя подняла голову — просительные, влажно блестящие глаза, обмякшее после слез лицо.

— Так надо, Андрюша, — сказала она тихо, и по интонации нельзя было понять, оправдывается она или спрашивает, ожидая моей поддержки.

И я молчал.

— Пиши мне...

— Писать? А может, не надо?.. Зачем напоминать, зачем травить друг друга?..

— Андрюша, милый! Ты последнее у меня отнимаешь!

— Уже все отнято...

Лицо ее передернулось, губы задрожали.

— Как ты не понимаешь?! Как ты не догадываешься?!

В это время громко застучали по лестнице шаги, мужской голос басовито спросил:

— Можно?

Несколько человек — шофер и комхозовские рабочие, — переминаясь, нерешительно поглядывая на нас, вошли в комнату.

— Извиняемся. Вещички остальные забрать...

Валя встала с ящика.

Стук, шум передвигаемых на полу тюков, голоса: «Подхватывай с того конца!.. Придержи!.. Правей, правей!..» Нас оттеснили в угол. Валя безучастно следила, как проталкивают в дверь объемные тюки.

Вытолкнули последний ящик. В комнате стало просторно, вызывая голо, сильнее били в глаза невыгоревшие пятна обоев на стенах, захламленность пола.

Шум голосов, скрип, стук раздавались уже на лестнице.

Валя нервно передернула плечами:

— Закрой дверь.

Я плотно прикрыл дверь в прихожую, вернулся к ней.

— Валя,— заговорил я,— раз уж ничего нельзя сделать, раз уж так вышло... Надо отрубать. Каждое письмо и для тебя и для меня — страдание. Валя!..— Я старался заглянуть в ее опущенное лицо.— Родная, милая, что нам еще делать, что делать? Решили так... Что ж... Как нелепо!..

В дверь раздался стук.

— О господи! — Валя мученически сморщилась.

Вошел Ващенко, уставился в пол, произнес:

— Прошу простить. На станции могут быть осложнения с вещами. Валя, я сейчас уеду... распоряджусь там... Через два часа за тобой подадут легковую...

— Нет! — резко перебила Валя.— Поеду с тобой. Через пять минут я спущусь вниз.

Ващенко, глядя под ноги, помялся, хотел, видно, что-то сказать, но не сказал, повернулся.

И едва дверь за ним закрылась, Валя бросилась ко мне, схватила руками за плечи, совсем рядом заблестели ее глаза.

— Андрюша! Мне нужно знать, что ты помнишь обо мне, ты думаешь, хочу даже, чтоб ты любил! Хочу! Все может случиться! Сейчас ничего не могу, а потом... Вдруг да повернется, вдруг да он поймет?.. Я надеюсь! На невозможное надеюсь! Других надежд нет... Не отнимай этого!

В эту минуту я услышал за закрытыми дверями на лестнице медленные и тяжелые шаги. Ващенко, должно быть, задержался в прихожей, слышал слова Вали.

Я обнял Валу, она до боли стиснула мне шею. Ее щека была мокрой и горячей.

Ветер ворвался в окно, прошелестел газетой на полу, во дворе вдруг взревел мотор, взревел и, словно испугавшись, заглох. И в комнате и во дворе наступила тишина. Валя разжала руки.

— Мне пора...

Она, избегая встретиться со мной взглядом, стала приводить себя в порядок. Последний раз я наблюдал за ней. Родные, знакомые мне руки, ширококостные в запястье и узкие, хрупкие в кистях, наклон шеи, волосы, которые она поправляла сейчас,— все, все знакомо и дорого! Неужели в последний раз?..

Медленно, бок о бок, касаясь локтями, мы спустились ступенька за ступенькой по лестнице.

А во дворе в это время происходило что-то необычно-

венное. Уже нагруженная, увязанная, укрытая брезентом машина снова разгружалась. Вокруг нее, сутулясь больше обычного, ходил Ващенко. Часть вещей была снята с кузова и лежала на траве.

— Валя остановилась, ухватила за мой локоть.

Ващенко, высокий, сторбленный, с устало качающимися у колен тяжелыми руками, медленно подошел к нам. Глядя прямо в лицо Вале, негромко, чтоб только мы одни слышали, но твердо произнес:

— Валя, ты остаешься. Я так хочу.

Валя прижималась к моему локтю. Возле машины возились шоферы, кидали на нас пытливые взгляды, с улицы наблюдали любопытные.

— Тут я вещи снял... Там и мое... — Запавшими глазами он угрюмо и спокойно глядел на Валу.

— Что это? — слабо спросила она.

— Валя, я все знаю. У нас уже ничего быть не может. Будешь ждать разрыва. Иди домой. Иди... — Ващенко повернулся ко мне: — Андрей Васильевич, с вами я хотел бы поговорить наедине. Идемте!

Я отстранил от себя Валу.

— Вертухов! — крикнул Ващенко одному из шоферов. — Увязывай оставшиеся вещи — и на станцию. Приеду к поезду.

Ващенко медлительным, тяжелым шагом направился со двора. Я, глядя в сутуловатую, с выступающими лопатками спину, шел послушно за ним.

В нашей чайной, кроме общего зала с буфетной стойкой, двумя рядами столов, неизменными фикусами в деревянных кадushках, была еще маленькая комнатка с одним столом — на всякий случай, для особых гостей.

В эту комнату и привел меня Ващенко. Сразу же, скрипявая протезом, появился сам Трофим Коптелов, бывший разведчик, вернувшийся с фронта без ноги и с набором орденов, теперь заведующий чайной.

— Петр Петрович...

— Организуй нам чего-нибудь, — попросил Ващенко, — только побыстрей.

Взгляд Трофима Коптелова стал проникновенно пытливым. Он неуверенно помялся, но уточнять просьбу не решился, молча повернулся и скрылся за дверью.

Ващенко сидел, облокотившись на стол, подперев голову руками, молчал. Я глядел на его большой, покрытый морщинами лоб, крупный мясистый нос, опущенные веки. Этот человек ничего не сделал мне плохого. Почему людям так скупой отпускается счастье? Почему непременно приходится переезжать чью-то судьбу?

Девушка-официантка принесла накрытый салфеткой поднос, и на столе появились стаканы, пол-литра водки, сыр, холодное мясо. Загадочное «чего-нибудь» прозорливый Трофим Контелов понял по-своему.

Девушка ушла, старательно прикрыв за собой дверь.

— Что ж...— Ващенко разлил по стаканам водку.— Прошу, ежели желаете.— По-прежнему не глядя на меня, спросил: — Понимаете, что вы сейчас сделали?

— Понимаю,— ответил я.

Снова молчание. Ващенко разглядывал налитые стаканы.

— Не трудно понять... Я не сентиментальный человек, немало видел, немало пережил, могу при нужде быть и жестоким. Уж я бы сумел оттолкнуть вас в сторону. Да, оттолкнуть, без всякой жалости! И что вас жалеть? Вы еще молоды, вы оправитесь. А скажем, и не оправитесь... Вы мне чужой. Но Валя... Я ее просил спасти меня, не отнимать последнее. Да, просил! Не часто прошу. Она не из тех, кто ради собственного благополучия без угрызения совести затопчет другого. Согласилась, не отказала. А я решил принять эту жертву. Не легко было принять. Какое я имею право спасать себя ее несчастьем! Ее!.. Того человека, которого больше всего люблю. Больше себя...

Он глядел на меня своими запавшими голубыми глазами, глазами больного ребенка, которому непонятно почему приходится выносить страдания.

— Вы...— вглядывался он в меня.— Неужели вы такой, какой ей нужен? Ой ли?! Может, она ошибается? Она мечтатель, в каком-то роде не от мира сего, от нашего практического, здорового, трезвого, большей частью не поэтического, а прозаического мира. Впрочем, любой мир в любые времена был прозаичен. Ей же нужен человек, который бы прозу жизни перекладывал на стихи. Тогда она станет и другом, и женой, и силой, толкающей вперед. Вы тот человек? Не верю! Ошибается. Может, опомнится, уйдет от вас. Хотя она и во мне ошиблась, а протянула же со мной почти пятнадцать лет. Если столько и с вами протянет, то ей будет под пятьдесят. Поздно тогда уходить... Что ж, живите...— Ващенко тяжело замолчал, разгляды-

вал нетронутые стаканы с водкой и, когда молчание стало невыносимым, повторил: — Живите счастливо. Не подумайте, что красуюсь. Впрочем, что бы вы ни подумали, для меня не так уж важно.

Впавшие виски, тяжело нависший нос, глаза, старательно прячущие от меня взгляд, складка крепко сжатого рта, судорожно напряженная... Пытается и не может спрятать боль. Я не дерево, я живой человек, не могу не отвечать на боль болью. Складка рта, дрожащая от напряжения... Жалость, стыд, чувство вины, нет сил — жжет, хоть кричи!..

Стоят непотчатые стаканы с водкой. Протянуть бы руку, опрокинуть залпом, оглушить мозг, остудить кровь. Но Ващенко не притрагивается к своему стакану.

— Все-таки жалею, что прощаться вас допустил. Не допусти, уехал бы с Валей. А там, кто знает, как бы еще получилось.

— Пришел бы провожать,— сказал я.

— Даже если б я стал поперек дороги?

Я промолчал.

Ващенко поднял на меня глаза и секунду, показавшуюся мне бесконечной, безжалостно вглядывался. И по всей вероятности, он понял, что я испытываю, потому что с хмурой поспешностью отвернулся, заговорил:

— Выпейте свою водку... И пойдем... Мне пора убираться, вам утрясать свои дела... Смотрите, чтоб досужие сплетни не слишком-то ее пачкали. Сумеете ли защитить?.. Кучин тут за меня остается. Он провожать меня будет, я ему все скажу. Скажу, чтоб вам помогал, чем может.

— Спасибо.

— Да, что я еще хотел сказать?.. — Он потер лоб ладонью. — Наверное, думаете: «Позвал, уединился, к чему такая многозначительность?» Я и сам не понимаю: зачем этот разговор? Без него все понятно. Но не мог... молча уехать. Передайте Вале, чтоб она за меня не боялась: в омут не брошусь, травиться не стану, алкоголиком тоже не сделаюсь. Буду жить, как сумею, буду ей письма писать, к себе буду ее звать, буду надеяться... А уж если не оправдаются надежды, для разных там разводов и формальностей, скажите, всегда к ее услугам.

Он на минуту смолк, в углах сжатого рта снова появилась напряженно дрожащая складка, под правым глазом дернулся живчик. Я отвернулся, чтоб не видеть его. Я боялся, что не выдержу, попытаюсь что-то сделать, а сде-

лать ничего нельзя. Ничего!.. Кроме ненужных и постыдных глупостей.

— Берегите Валю...— выдавил он из себя.

Не поднимая на него глаз, я отвернулся к стакану, залпом, не чувствуя вкуса водки, выпил.

Ващенко встал, поднялся и я. Он стоял передо мной, выставив вперед изрезанный морщинами большой лоб, со свисающими руками, внешне спокойный, сумрачный, решительный.

— Еще одно. Когда вы были в городе, видел ли кто вас из знакомых?

— Лещев видел.

— Не то. Из загарьевцев кто-нибудь видел?

— Вроде нет.

— Должно быть, кто-то видел. В обком на вас чья-то досужая рука анонимку написала. Не точно это, но догадываюсь. Очень скоропалительно решили меня перебросить. Боятся за авторитет, спасают меня. До сих пор на мои просьбы приходили только отказы. Имейте это в виду. Вале не говорите. Незачем. Берегите ее...

По заполненному людьми залу Ващенко прошел твердой поступью, с непроницаемо-спокойным лицом. Возле крыльца чайной его ждала «Победа». Шофер при его появлении зашевелился за рулем.

Ващенко протянул мне руку:

— Прощайте.

Я пожал ее:

— Прощайте, Петр Петрович.

Во всех окнах чайной виднелись лица.

Ващенко сел рядом с шофером, уткнул подбородок в грудь, приказал:

— Побыстрей к поезду.

Я стоял, пока машина не свернула за угол.

17

Валя сидела одна в комнате, снова беспорядочно заваленной нераспакованными вещами. Она поднялась мне навстречу:

— Уехал?

— Уехал.

Она снова опустилась на ящик, взгляд ее был рассеянный, руки беспокойно двигались, то поправляли юбку, то ощупывали шершавые доски ящика, то трогали сумочку

на коленях, и все это при отсутствующем, рассеянном взгляде.

Я почувствовал, что она не просто жалеет его, а она любит его, любит, пожалуй, в эту минуту больше, чем меня. И я прощал ей это, я понимал ее, я сам был подавлен, уничтожен поступком Ващенко, признавал его превосходство над собой.

— Что мы будем делать? — спросила она безучастно.

— Будем устраиваться. Завтра будем подыскивать себе место для жилья. Нам же нельзя здесь оставаться. Это его дом, здесь станет жить другой секретарь райкома.

— Это его дом, — повторила она.

— А сейчас я пойду.

Она подняла на меня глаза.

— Туда?

— Да.

Она устало кивнула головой: «Иди».

Я вышел.

Сказать? Все? Вот она, катастрофа. Мы ее предчувствовали, перед ней содрогались. Вот она разворачивается полным ходом. Она беспощадна, заставляет быть беспощадным и меня. Только что проводили на станцию человека, хорошего человека, которого я обрек на одиночество. Жалость и помощь не могут теперь исходить от меня, я несу только крушение, только ломку. Я сейчас иду, чтоб разрушить еще одну жизнь, и даже не одну, а две жизни.

Я был опорным столбом своего дома. Тоня лишь занималась тем, что вокруг меня лепила гнездо, ежеминутно, ежечасно надстраивала; и делала она все это любовно, вкладывала все силы, какие у нее были. Я уйду, рухнет опорный столб. Что ей останется? Работа? Так она не увлечена ею, она для нее была только лишней подпоркой к дому. Дочь? Так и дочь для нее лучшее украшение дома, его гордость. В представлении Тони дочь станет теперь сиротой, вместе с крушением дома рухнет в глазах Тони и судьба дочери. Трагедия Тони нисколько не меньше, чем трагедия Ващенко. Тоня наверняка менее мужественна, потому и катастрофа покажется ей еще более ужасной.

Но что же делать? Нельзя обойти Тоню. Я и здесь не смогу быть жалостливым, не смогу ничем помочь. Я разрушитель, я иду в свой дом и несу разрушение. Нет большего несчастья, чем сознательно отнимать счастье у других.

А Наташка?.. По утрам возле моей подушки — ее ро-

зовая рожица и изучающие глаза. Никогда этого не будет! Никогда больше я не услышу ее восторженный выкрик: «Мой папа!» Что она подумает о своем отце? Жить без Наташки, видаться изредка, стыдливо приносить подарки, смотреть ей в глаза... Дочь моя! Что я делаю? Ухожу от тебя! Предаю!

Нельзя думать об этом! Повернуть все по старому невозможно. Думай о том, что Наташка еще ребенок, она не сумеет понять всего, она перенесет разрушение легче, чем Тоня. В этом ее счастье. И мое. Я должен вспоминать о Наташке только так! Всей силой воли, на какую способен, должен заставить себя забыть на время ее глаза, ее милое изучающее выражение по утрам, ее любовь ко мне. Забыть... На какое-то время, не навсегда. Навсегда не забуду.

Настасья время от времени уходила в деревню к родне, часто забирала с собой и Наташку. И сейчас не было дома ни Настасьи, ни Наташки. Не было дома и Тони.

Я облегченно вздохнул. На несколько минут, на полчаса катастрофа откладывается. Могу оглядеться, могу обдумать.

А стены дома встретили меня обжитым покоем. Чистый половичок у дверей, у стола бахромой скатерти в безмятежном одиночестве играет котенок, в углу разбросаны Наташкины игрушки, целлулоидная кукла с наивной доверчивостью глядит разрисованными глазами. Тревога пока еще не вошла в эти стены, здесь все как было.

Я прошел в свою комнату. На письменном столе разбросаны бумаги. Это мое выступление, которое я писал для совещания, моя защитная речь перед Коковиной. Неужели не дальше как несколько часов тому назад я писал это, писал взволнованно, возмущался Коковиной, верил в свое святое возмущение! Это было всего несколько часов тому назад!

Среди моих бумаг лежит листок, на нем что-то написано крупным, аккуратным почерком. Что это? Я взял в руки листок.

«Андрей Васильевич,— прочитал я.— Как честный человек, я не хочу действовать исподтишка. На сегодняшнем совещании я выступаю против Вас. Это мой долг. На опыте своей работы я убедился, что Вы глубоко заблуждаетесь. Хотел перед совещанием Вас видеть и объяснить.

Неизменно Вас уважающий *Анатолий Полярков*».

Здесь был Анатолий Акиндинович. Он выступает се-

годня на совещании. «Как честный человек...» Честный? Мне не приходилось ни убеждаться, ни разуверяться в этом. Но в том, что он непробиваемо глуп, нет для меня сомнения. Он приходил сюда доказывать, что я заблуждаюсь, только потому, что у него не получилось. Понятно, этого Анатолия Акиндиновича вытащила Коковина, он для нее та дубинка, с помощью которой можно усердно бить меня. У него не получилось. Разве это не доказательство, что я прожектерствую, что из моих потуг ничего толкового не выйдет!

Я взглянул на часы: без десяти минут семь. Совещание уже началось.

Без десяти минут семь на моих часах. И вся окружающая меня жизнь как бы развернулась передо мной, я ее увидел объемной.

Без десяти семь. Ващенко сейчас ходит возле железнодорожного полотна, ждет поезд. Невеселые у него мысли...

Валя сейчас тоже думает об одиноком Ващенкове, ожидающем поезда. И ее мысли такие же невеселые...

Без десяти семь. Идет совещание. Быть может, выступает Коковина, говорит обо мне, упрекает меня за недисциплинированность, за партизанщину, как особое доказательство выставляет мое отсутствие на этом совещании. А возможно, выступает Анатолий Акиндинович. Кичливо рассуждает о том, как он взялся проверять на практике и у него ничего не получилось. Он не может ошибаться, могут ошибаться только другие. Я всегда чувствовал, что его глупая активность сыграет со мной злую шутку. Впрочем, плевать!.. Василий Тихонович сейчас, верно, глядит на свои часы: без десяти семь, совещание идет, а меня нет. Василий Тихонович мысленно обкладывает меня всяческими ругательствами. Ему не плевать, он не хочет поражения...

Без десяти семь. Я стою у своего стола и жду Тоню. И то, что она вот-вот появится, для меня сейчас самое важное, самое значительное, значительнее всех Коковиных, Анатолиев Акиндиновичей и ругательств Василия Тихоновича.

Тоня о чем-то догадывается, что-то подозревает, но не ждет удара. Легко ли вдруг, с маху обрушить: «Ухожу!» Какой бы она для меня ни была, как бы к ней я ни относился, но живая! Живая! Но что делать? Ващенко вот-вот сядет в поезд. Валя одна, она ждет, катастрофа разразилась, не в моих силах ее приостановить. Жду Тоню, чувствую себя преступником.

Надо взять какие-то вещи, самые необходимые, те, что никогда не пригодятся Тоне. На стене висит ружье, оно первое бросилось мне в глаза, оно-то Тоне никогда не понадобится. Но и мне оно сейчас не нужно. Надо взять пару белья, зубную щетку. Мыло можно не брать — найдется у Вали.

Я прошел в кладовую, достал пыльный чемодан.

И тут появилась Тоня. Она сделала крутую дугу по комнате, остановилась перед открытым чемоданом, глаза с зеленоватым отливом уставились на меня, на лбу вздулась вена. Я понял, что Тоня, переступая порог, уже что-то знала, о чем-то была осведомлена.

Она стояла в легком, по-летнему веселом цветастом платье, выставив вперед грудь, откинув назад маленькую, гладко причесанную голову, напряженно округлив глаза. Между нами лежал открытый чемодан.

— Куда собираешься? — спросила она сквозь зубы.

— Ухожу, — ответил я.

С этих слов началось нечто унижительное и безобразное, о чем я всегда буду вспоминать со стыдом.

18

И это продолжалось долго, вплоть до сумерек.

Открывались ящики комодов, на пол, на мой раскрытый чемодан летело чистое белье, сорочки, наволочки, брюки, костюмы. В комнате, недавно хранившей обжитый, покойный уют, стоял разгром. Были крики, были мольбы, вопли, проклятия и поношения ожесточившейся женщины.

Я оставил Тонию обессиленной, уткнувшейся в подушку растрепанной головой.

Я шел по улице с легким чемоданом в руке.

Был тихий, теплый вечер, с остывающим закатом, с вялой, отяжелевшей от росы листвой на деревьях. Я шел переулками, чтобы меньше встретить прохожих. Шел и поминутно морщился, вспоминая все, что случилось дома.

Грубость Тони, ее крики и ожесточенная ругань приглушили к ней жалость. Я чувствовал себя уверенней, я лишний раз убедился, что иначе не мог поступить, как только так вот уйти с легким чемоданом в руках. Если бы даже не было Вали, рано или поздно это случилось бы. Я и Тоня по-разному думали, по-разному глядели на жизнь. Валя только развязала случайный узел.

Шаг за шагом я ухожу дальше от дома. Ухожу навсегда.

Нельзя думать о Наташке... Через час, через полчаса, через десять минут Тоня сообщит Наташке... Сейчас Тоня ожесточена, что-то ей скажет, какие слова? Она мать, я надеюсь, она будет бережна.

Но нельзя думать о Наташке!..

Я иду к Вале. Она ждет, она с полуслова, нет, не с полуслова, с одного взгляда поймет. Я теперь буду принадлежать ей, она — мне. Одна жизнь у нас впереди, одни мысли, одни желания, одни заботы. Мне не знакомо такое счастье, я никогда тесно еще не жил с человеком, который бы во всем понимал меня, сочувствовал тому, что я делаю. Катастрофа разразилась, она позади, теперь на ее обломках будем создавать новое.

Нас еще многие не поймут, многие осудят, кто-то из людей еще проявит к нам жестокость, но мы и это должны вынести.

Я шагал узеньким переулком, по крепко утопанной, глухо стучавшей под ботинками тропинке. Свисающая из-за заборов листва черемух и рябин задевала меня, обдавала росой.

Неожиданно на моем пути появилась долговязая фигура; тонкие ноги широко расставлены, кулаки уперты в поясицу, острые локти торчат в стороны, жесткие волосы упали на брови. Мне загородил дорогу Василий Тихонович.

Поздно сворачивать — он глядит на меня, — да и некуда сворачивать.

— Не спеши, — надвинулся он. — Дай поглядеть, каков ты в новой роли.

— Спросить хочешь, почему не пришел? — начал я.

— Хочу сказать, что ты подлец! — оборвал он меня. — Таскайся за юбками — твоя воля, но не продавай за юбку дело. Не явиться, подвести, дать козырь Коковиной!..

— Слушай, Василий, случаются вещи важнее...

— Важнее дел, которые ты сам заварил! Продать все за бабенку!

— Молчи!

— Нет уж, мне пришлось молчать там. Когда Коковина твоим именем мне рот заткнула. Уж разреши поговорить. Или теперь тебе все безынтересно, кроме этой юбки со смазливой рожцей да сладенькими речами?

— Василий! — подался я на него.

Меня охватил страх: вот оно, начинается! Насмешки,

грязь, и не на меня, на Валию! И кто насмехается? Если Тоня выкрикивала ругательства, то перед ней я беспомощен, я чувствовал за ней право — пусть постыдное, недостойное, — но право ругаться, негодовать, обзывать. Но тут Василий Горбылев, он считается моим другом.

— Меня ругай, а ее не тронь, — сказал я.

— Тебя?.. Да ты невменяем. Тебя ничем теперь не прошибешь.

— Василий...

В рассеянных сумерках быстро сгущавшегося вечера я видел туго сведенную линию бровей, притушенный блеск глаз, обтянутую кожей переносицу.

— Что Василий? Кланяться тебе прикажешь за то, что эта комнатная болонка так тебя...

Он не договорил. Я с размаху ударил, целясь в мерцающие глаза, в костистую переносицу. Василий дернул головой, и удар пришелся в зубы. Он покачнулся, вытер ладонью рот, внимательно оглядел ее, бросил быстрый взгляд на меня, сплюнул кровавую слюну мне под сапоги, сначала отвел в сторону крючковатый нос, потом медленно, с трудом повернулся и так же медленно, толкая себя вперед, нескладным шагом двинулся прочь.

А я стоял, одной вспотевшей рукой сжимая ручку легкого громоздкого чемодана, на другой руке ощущал в суставе мертвенно-холодящий след от удара.

Никогда мы не мерялись с ним силою, но я-то знаю, он не из слабеньких, может при нужде дать сдачи. Но он не сделал этого...

Переулок был пустынен. Влажно шуршала листва в ближайшем палисаднике. На чьих-то огородах деревянным, несмазанным голосом скрипел заблудившийся гусь.

И раскаяние, и стыд, и предчувствие страшной, неправимой беды вдруг навалилось на меня. Катастрофа позади? Она окончилась? Нет, все только начинается, все ломается и дальше будет ломаться. Вот и сейчас я сломал дружбу с Василием Горбылевым. Нет товарищей, нет дома, нет дочери — ничего нет, кроме Вали, беспомощной и одинокой.

Дорогой же ценой она мне достанется...

Мы улеглись, подстелив под матрацы на затоптанный пол газеты. Лежали, обнявшись, в нежилой комнате, беспорядочно заставленной упакованными вещами, чужой

комнате, временном, неуютном пристанище, которое утром нам нужно оставить.

Время от времени по дороге проезжала машина, и свет ее фар проникал сквозь незанавешенные окна, скользил по оголенным стенам, освещал на минуту тюки, обшитые мешковиной, поблескивающие никелем спинки кровати, обвязанные веревками. И от этого плывущего света становилось еще неуютней.

Мы не спали, молчали. Я прислушивался к боязливому дыханию Вали. Мы оба одинаково чувствовали одиночество, от этого теснее прижимались друг к другу, и нас охватывала щемящая родственность. Ведь у меня только одна она, у нее — только я.

19

Жить в Загарье, изо дня в день чувствовать косые взгляды, постоянно ощущать себя в центре досужего любопытства, знать, что добросердые хозяйшкИ, встречаясь у колодцев, бесцеремонно перемывают косточки тебе самому и, что хуже, Вале. Жить и помнить, что рядом живет озлобленная, ненавидящая тебя Тоня. Твой самый близкий друг незаслуженно обижен тобою. На работу, которой ты прежде отдавал все свои силы, пытаются наложить запрет. Нет у тебя здесь дома; кроме дочери, нет родных.

Казалось бы, что проще — найми машину, побросай туда нераспакованные Валины вещи, поезжай на станцию, возьми билет на поезд — и новые места, новая жизнь!

Так думал я, лежа рядом с ВалеЙ, в ту ночь. Но утром понял, что сорваться немедленно с насиженного места невозможно. Тысячи мелочей не пускают. Надо оформить свой уход с работы. Придется, возможно, хлопотать в области о направлении в другой район. Предъявлять доказательства, вести щекотливые разговоры... На все нужно время.

Но самое важное, самое серьезное, что меня прочно держит в Загарье, — это Наташка. Отмахнуться от нее, уехать, писать письма, высылать деньги, пусть себе растет в стороне... Нет, не могу! Надо договориться, чтоб можно было время от времени навещать ее. Сейчас Тоня слишком ожесточена, с ней невозможно вести разумные переговоры. Признание о поспешном бегстве из Загарья

вызовет у нее бешеное негодование. Надо ждать. Надо жить...

Днем я случайно столкнулся на улице с председателем колхоза Иваном Шубниковым, и он свел меня к хозяйке, которая согласилась сдать нам пол-избы.

Мы стали квартирантами Марьи Никифоровны Ключиной. Была у нее когда-то большая семья: муж, свекор, свекровь, сын и дочь. Мужа убило в первый год войны. Скончались свекровь и старик свекор, а сын погиб в первых числах мая сорок пятого года где-то в Германии. Дочь года три тому назад вышла замуж и уехала искать счастья в Сибирь. Марья Никифоровна жила одна — маленькая, ссохшаяся старушка, на морщинистом, продубленном лице выделялись ясные, кроткие глаза; ни слезы по умершим, ни тяготы вдовьей жизни, иссушившие ее тело, не помutilи чистоты этих глаз, не вытравили из них врожденной доброты.

Нам была отведена просторная горница, отделенная от жилья Марьи Никифоровны массивной русской печью и легонькой дощатой переборкой. Некрашенные полы хозяйка вымыла до солнечной желтизны, на низенькие окошечки повесила вырезанные из газеты пезатейливые украшения.

Из окраины Дворцов, где мы поселились, до центра Загарья было всего минут двадцать ходьбы через мост, соединяющий оба берега реки Куртавки. Там — булыжные пыльные мостовые, двухэтажные здания, там — деловой центр района с вывесками учреждений и магазинами. Здесь же — околица деревни, вместо булыжной мостовой поросшая травой дорога, по которой раз в день простучит колхозная телега; вместо двухэтажных зданий с высокими окнами — крестьянские избы с сараями, поветями, бревенчатыми замшелыми въездами на эти повети; здесь ветхие крыши осевших в землю банек утопают в зарослях крапивы; здесь покосившиеся изгороди, связанные из длинных жердей; здесь по утрам вместе с чадным запахом печного дыма разносится запах парного молока из хлебов. Тут своя неторопливая жизнь, которая на первых порах как-то успокаивала меня.

Марья Никифоровна старалась, как могла: не оказалось в Валиных вещах подушек — дала свои, нужны были доски для полок — разрешила разобрать в старом амбарашке пол, у соседей выпросила рубанок и стамеску; топор, молоток и гвозди нашлись в ее хозяйстве.

Я принялся тесать, строгать, сколачивать. Хозяйст-

венностью и домовитостью я окончательно подкупил Марью Никифоровну. Она любовалась с крыльца, как я подгоняю доски друг к другу, сокрушенно качала головой и не уставала повторять:

— Вот ведь мужик в дом пришел. Алексея моего напоминаешь, сердешный. Тоже, бывалоча, за что ни возьмется, все в руках горит...

Во мне, наверное, погиб недюжинный плотник. С детских лет любил я действовать топором и рубанком. Во время учебы на художника никто из ребят не мог быстрее меня сколотить крепкий подрамник, обтянуть его так, что при одном прикосновении холст звучал, словно бубен. Запах свежей щепы и стружки всегда вызывал во мне смутное волнение. Теперь работа избавляла меня от назойливых мыслей.

Я поставил полки, разложил на них Валины книги. Валины платья, расправленные на плечиках, повисли в дощатом простенке возле дверей. Все непривычное, ненастоящее, все временное.

И как ни странно, я вдруг понял, что в этом временном нам придется жить долго-долго, что в ближайшие дни и недели мы не уедем из Загарья, эти полки, эти занавески, такие непривычные для меня, — новые корни.

Единственная вещь, к которой я испытывал родственные чувства, картина в простой раме, изображавшая поросшее ельничком болотце.

Я теперь подолгу глядел на нее, и, кроме того, что она вызывала во мне смутную щемящую грусть своими рыжими кочками, влажностью мутного неба, теснящимися друг к другу елочками, она еще навевала воспоминания. Первая встреча — настороженно-выжидательный взгляд Вали, больная Аня в соседней комнате... Долгие сдержанные разговоры под этой картиной... Безвестный — не укажешь в календаре — день, когда оба поняли: любим друг друга. Поняли, но не разрешали себе признаться... И наконец, увязанные в мешковину вещи. Валя у окна, со стуком выпавшая из ее рук картина... Невероятное! Не смел даже мечтать! Свершилось! О чем еще жалеть? На что жаловаться? Незатейливый пейзаж под низким потолком деревенской избы был моим молчаливым другом.

Валя была всегда рядом, она мне помогала устроиться. Я мог в любую минуту окликнуть ее, позвать. В этом было что-то новое, непривычное, радостное. Про-

изнести ее имя, и она обернется, позови — она подойдет; я могу следить, как она двигается, могу наблюдать, как, усевшись на крылечке, натянув на крепкие колени легкий подол платья, сосредоточенно действует иглой, подруба-ет занавески или же со вдумчивым лицом развешивает на веревки только что выстиранные кофточки. Она здесь, она моя, она будет моей, я единственный человек, право которого она признает над собой.

Но во всем этом было еще и другое, появилась какая-то привычка, появилась уверенность — так, а не иначе и должно быть. У меня уже больше не теснило в груди, когда я ее видел, я уже не опасался, что она может вырваться от меня, что кто-то помешает мне ее видеть, ощущать рядом с собой.

Я продолжал любоваться Валею, не меньше ее любил, но любил ровнее.

Устройство скромного жилья не могло занять много времени. Вбит последний гвоздь, мне надо входить в привычное русло.

Шли летние каникулы, в школе начался ремонт. Один вид пропахших олифой коридоров, заставленных козлами, бочками, ведрами из-под краски, вызывал у меня чувство чужеродности: я лишний в этих стенах.

Я проходил в учительскую, заставал там одного или двух учителей, здоровался, мне с излишней торопливостью отвечали, и наступало тягостное молчание.

Все помнили последнее совещание, где Коковина заявила, что моя дальнейшая деятельность в школе небезопасна для коллектива, что следует поставить вопрос о переводе.

Вернулась из декретного отпуска Тамара Константиновна, приняла на себя обязанности директора. При встречах она едва достаивала меня величественным кивком.

Кроме всего, скандальная слава: ушел от жены, сошелся с другой женщиной. Учителя — мои недавние добрые знакомые — не знали, как держаться, чувствовали себя в моем присутствии связано.

Ходячая, тривиальная фраза — «беда не приходит одна». Мне кажется, в ней скрыта железная закономерность. Случись так, что мои отношения с Валею остались бы прежними, наверняка я пошел бы на совещание в рожно, дал бы Коковиной бой, возможно, вышел бы победителем, дружил бы с Василием Тихоновичем, и учителя не поглядывали бы на меня отчужденно.

Но все переплетено в жизни: рвется одна нить, расползаются и остальные. Несчастья распускаются не в одиночку, а махровыми соцветиями. Если б только неудача в работе или же только катастрофа в семье — не терялся бы, не дрогнул. Но все вместе... Трудно!..

Как-то в учительской я застал одного Олега Владимировича. Он, как все, был смущен, теребил брови, глядел в сторону. И я не выдержал.

— Олег Владимирович, вы прячете от меня глаза. Прячете и молчите. Вы, отзывчивый, честный, доброжелательный человек, скажите мне все, что думаете, упрекните, осудите, не бойтесь оскорбить. Я еще не стал настолько невменяемым, чтоб не понимать человеческих слов.

Олег Владимирович, добрая душа, покраснел, с мучительной застенчивостью взглянул на меня.

— Лично я вас ни в чем не упрекаю. Все, что с вами случилось, может случиться с каждым из нас.

— Тогда почему же вам сейчас даже с глазу на глаз тяжело со мной?

— Эх, Андрей Васильевич, Андрей Васильевич!.. Тяжело? Да, тяжело... Потому что не знаю, чем вам помочь, как выправить положение. И каждый не знает. Видеть вас и испытывать собственное бессилие, верьте мне, не слишком-то легко. И вы должны понимать это и не судить нас строго.

Олег Владимирович с минуту помолчал, потом добавил не столько для меня, сколько отвечая себе на свои мысли:

— Не созрела, видать, наша школа для кардинальных реформ. Боюсь, что вы стучались лбом в каменную стену.

Иван Поликарпович был в отпуске, жил затворником в своей тихой обители. У меня не было никакого желания встречаться с ним. К чему? Он, возможно, мне посоветует, попытается утешить, а этого мало!

Из всех моих прежних друзей и знакомых теперь смог бы поддержать один Василий Тихонович. Он-то уж не стал бы опускать смущенно глаза, не каялся бы передо мной в собственном бессилии. За эти дни были у нас с ним две случайные встречи при народе. Василий прошел мимо, не поздоровавшись, не глядя в мою сторону. Я же не осмелился заговорить с ним.

Пусть даже все утрясется, пусть забудется, но, если я не сойду с по-старому с Василием, все равно моя жизнь

станет неполной, работа ущербной. Буду преподавать по-своему, возможно, добьюсь виртуозности, сделаю каждый урок насыщенным и интересным, увлеку даже своим примером других преподавателей. Не всех, большинство останется верным старым приемам, старым методам, так как задачи школы не изменятся. Нужен энтузиазм, бескорыстное подвижничество, чтобы выполнять больше, чем требует того школа. А рассчитывать, что все учителя станут энтузиастами и подвижниками,— утопия.

Год назад я, может быть, с охотой согласился бы и на это. Теперь мне этого мало. Василий Тихонович рассчитывает изменить лицо школы: новые задачи, новые требования, учеба и работа в одно и то же время, волей-неволей все учителя будут вынуждены по-новому взглянуть на преподавание. Все! А вместе со всеми искал бы я, не в одиночку, не с избранными энтузиастами — со всеми! Человек, который знает, что можно пересекать материк на курьерских поездах и реактивных самолетах, не может уже довольствоваться ломовым извозчиком.

Но Василий Тихонович оскорблен и не собирается простить меня.

Коковина и Тамара Константиновна за моей спиной готовят какие-то решения.

Учителя боятся глядеть в глаза.

Та пустота, которую я смутно предчувствовал, теперь открылась передо мной, реальная, неизбежная, как унылое болото, раскинувшееся на пути пешехода. Я входил в эту пустоту. Вглядываясь в свое будущее, я уже не видел в нем ничего. Ничего ровным счетом!

Я не мог подолгу оставаться в школе. Сквозь пропахшие олифой коридоры я бежал на улицу. Скорей во Дворцы! Скорей домой! К Вале! Вот единственно близкий и верный человек. Ей могу без стеснения вывернуть наизнанку душу. Скорей к Вале!

Выходя однажды из школы, я увидел Степана Артемовича. Он стоял перед трактором. Этот трактор, торжественно проехавший Первого мая мимо праздничной трибуны, трактор, с которым вплоть до летних каникул возились ребяташки, заводили, чистили, ездили на нем, теперь осиротело приткнулся под стеной школы. Под его радиатором выросла молодая крапива, усики повилики тянулись вверх по колесам, в кабине выбито стекло, выкрашенный зеленой краской капот покрыт тусклым слоем пыли. Весь вид этого трактора, чуть осевшего на один бок, напоминал о конце. Старая машина, которой посча-

стливилось возродиться на короткий срок, теперь умира-
ла снова.

Вот возле нее и стоял Степан Артемович. Он не заметил меня. Маленький, с желтым сморщенным лицом, утер-
явшим свою былую тяжеловатость в чертах, одетый, как
всегда, со старицовой аккуратностью в темную отгла-
женную пару, с туго затянутым на тощей шее галстуком,
он стоял перед трактором, насупившись, внимательно раз-
глядывал, осторожно трогал палкой ржавые сочленения
гусениц.

О чем он думал в эти минуты? О чем-то своем, важ-
ном, наболевшем. На его сосредоточенно насупленном ли-
це не было ни презрительности, ни злорадства. Может, он,
глядя на безвозвратно умирающую машину, думал о сво-
ем собственном покое.

Мне стало почему-то тоскливо, так тоскливо, что хоте-
лось плакать.

Представилось, что мы все трое — доживающий свой
век на пенсии Степан Артемович, старый трактор и я —
в чем-то сейчас родственны. Пока живем, пока можем
двигаться, топтать землю, но кого это интересует?

А дома мне нечем занять себя. Полки сколочены, устав-
лены книгами — Валиными книгами, не моими. Поправ-
лено пошатнувшееся крылечко, разбитое стекло в окне
заменено новым, а дальше что? Куда деть себя?.. Пустота
вокруг, пустота в душе.

Валя страдала за меня. У нее стало появляться незна-
комое мне прежде выражение пугливости. Если я окликал
ее, она вздрагивала.

Как-то, вернувшись, я не застал ее дома, долго ждал.
Она пришла вечером, странно переменявшаяся, сдержан-
но решительная, серьезная, даже прическа на голове ка-
кая-то новая, гладко забранный назад со лба.

— Где ты была? — спросил я.

Она под села ко мне на кровать, не снимая кофты.

— Была у Кучина.

— У Кучина? Зачем?

— Поступаю на работу.

— Вот как?.. Куда?

— Да опять же на старое место. Опять к Клешневу.
Никак до сих пор не подберут секретаря. Теперь, Андрию-
ша, буду работать.

И я почувствовал испуг, наверно, тот самый испуг,
какой в свое время испытывал Ващенко. У Вали — оче-
редная «вскидка», снова в отчаянии бросается на работу.

Но ведь она уже однажды отказалась от нее, теперь-то должна бы поступать умнее. Ко всем моим невзгодам прибавятся еще ее разочарования.

— Андрюша, я знаю, о чем ты думаешь. Но теперь совсем не то, теперь — другое...

— На что ты надеешься? — спросил я.

— Надеюсь только на себя. Пусть будет опять та же работа, пусть снова тот же К्लешнев. Пусть. Я теперь все вынесу, потому что есть смысл, которого прежде не было. Давай говорить начистоту. У тебя трудное положение. Возможно, что тебя снимут с работы. Из-за страха, что мы оба потеряем кусок хлеба, тебе придется уступать, соглашаться... Так вот, я иду на помощь тебе, я буду работать и зарабатывать, ты можешь чувствовать себя уверенней, независимей. Нужно будет — станешь выжидать. Работа, пусть у К्लешнева, да это прекрасно, потому что она не ради того, чтобы занять свободное время. Она ради тебя! У этой работы свой смысл, Андрюша, значительный смысл для меня. И если я сумею помочь тебе, я буду просто счастлива. Ты понимаешь меня, Андрей? Это совсем не похоже на прошлое.

Она сидела рядом со мной, гладила легкой рукой мое плечо; ее лицо, нежное и чистое, было спокойным и счастливым. Только под ресницами скрытая тревога. И голос ее ласков, он и просит и убеждает. Я не возражал, я не смел огорчить ее недоверием, но я испытывал стыд за себя. Она спасает меня. Она!.. которой всегда была нужна помощь.

Но пусть обманывается, зачем разубеждать?

20

Олег Владимирович с таинственно значительным видом отозвал меня в кабинет директора, попросил присесть на стул.

— Андрей Васильевич, у меня очень неприятный для вас разговор.

Этого он мог бы и не сообщать мне, я сразу догадался: что-то случилось, что-то новое и неприятное. Олег Владимирович сидит сейчас передо мной багроволикий, смущенный до потной испарины, по привычке тербит свою дремучую бровь.

— Я вынужден с вами сейчас разговаривать как секретарь партийной организации. Очень неприятное дело, Андрей Васильевич, но я ничем не могу помочь.

— Говорите без предисловий.

— Да, да... Так вот, ваша жена... Простите, я говорю об Антонине Александровне... Так вот, она передала в нашу парторганизацию письмо.— Олег Владимирович болезненно поморщился, протянул мне вырванный из ученической тетради листок.— Вот, прошу, прочитайте... До чего все неприятно!

Тоня писала:

«...Не знаю, куда жаловаться, где искать помощи. Единственная надежда, что партийная организация примет соответствующие меры, разберет недостойный поступок моего мужа, члена партии Андрея Васильевича Бирюкова. Еще в прошлом году я начала замечать, что мой муж, А. В. Бирюков, стал часто навещать жену недавно уехавшего из района первого секретаря райкома партии тов. Ващенко. Мой муж обманывал меня, обманывал и честного человека, постоянно занятого руководящей работой. С тех пор стали меняться взгляды моего мужа. Мне часто приходилось слышать, как он в личном со мной разговоре всячески поносил уважаемого директора школы Степана Артемовича Хрустова, называя его сухарем, чиновником и еще более обидными словами, которые я и не осмеливаюсь даже написать в письме. Так же он отзывался о заведующей рсню тов. Коковиной. Как всем известно, С. А. Хрустов спас нашу дочь, вытащил ее из проруби, в результате чего сам тяжело заболел. Вместо благодарности мой муж у постели больного С. А. Хрустова устроил скандал, так что нас обоих пришлось выгнать из дому. Все эти факты я сообщаю для того, чтобы парторганизация знала, какое влияние оказала на моего мужа та женщина, незаконно живущая вместе с ним. Лично я с ней никогда не была близко знакома и не хотела знакомиться. Всем известно общественное поведение моего мужа и его участие в травле С. А. Хрустова. Это тоже, как я догадываюсь, происходило не без влияния этой женщины. В конце прошлого месяца, обманув меня и Ващенко, мой муж и эта женщина уехали в город. Она заставила моего мужа прикрыть этот морально грязный поступок якобы неотложными делами. На самом же деле они занимались в городе тайным сожигательством. Все это время муж мне лгал, пока та открыто не бросила своего мужа. После чего А. В. Бирюков устроил мне скандал и ушел к ней. Под влиянием женщины легкого поведения он бросил дочь, разрушил семью.

Еще должна сообщить, что мой муж всегда с большим высокомерием говорит о своих товарищах-учителях, никого ни во что не ставит, все у него глупы и недалёковидны, все, кроме него самого, круглые дураки.

Единственная надежда на парторганизацию. Появляйте на члена партии, который своим грязным поступком замарал это высокое звание. Исправьте А. В. Бирюкова, верните отца дочери, не дайте развалиться семье.

Еще раз: не откажите в помощи!

Антонина Бирюкова».

Олег Владимирович, втянув в плечи свою крупную голову, старался не глядеть на меня.

Я еще раз проглядел письмо: грубиян, лгун, прелюбодей, даже высокомерность не забыта — все собрано, что только можно, ничем не погнушалась моя верная жена. Если я такой, каким она меня представляет, то ей следует бежать от меня, как от прокаженного, а не тянуть обратно к себе и к дочери. Почти семь лет прожил я с ней, знал, что она не отличается глубоким умом, но не понять, что ничем другим так не оттолкнет она меня, как этой клеветой, этим унижительным доносом, не понять этого и надеяться на мое возвращение! Я не испытывал к ней злобы, было одно чувство после письма — отвращение.

Я отдал письмо Олегу Владимировичу.

— Вы хотите, чтоб я что-то сказал? — спросил я.

— Вся и беда, Андрей Васильевич, что вам придется это говорить не мне, а партсобранию. — Олег Владимирович снова болезненно сморщился. — Она, конечно, сейчас в таком запале, что непозволительно раздувает факты, даже извращает их, но... вы понимаете: раз письмо пришло, то мы не можем бросить его в корзину для мусора, не в моей власти от него отмахнуться. Попробуй умолчать — она пожалуется в райком. Райком вынужден будет нажать на нас. Шум, последствия...

Олег Владимирович долго мне объяснял то, что я и без него прекрасно знал.

— Вы правы. Разбирайте.

Олег Владимирович в ответ лишь снова поморщился.

Наша партийная организация занимала в жизни школы скромное место. В ней состояло всего шесть человек: Тамара Константиновна, Олег Владимирович, Василий Тихонович, две учительницы и я. Был еще Степан Артемович; но после того как отстранился от обязанностей директора, он снялся с учета.

Мы время от времени обсуждали материалы, поступающие от райкома, где говорилось о затруднениях с севом, о недостаточной активности МТС в ремонте тракторов, о помощи колхозам во время уборки силами учеников старших классов. Иногда по просьбе отдела пропаганды и агитации мы выдвигали из учительской среды лекторов и докладчиков. Школьных дел мы не касались, там господствовал один Степан Артемович. И это вошло в привычку.

Олег Владимирович, ставший неожиданно и директором, и завучем, и секретарем парторганизации, совсем было забросил партийные дела. Даже членские взносы вместо него собирала учительница химии Евдокия Алексеевна.

Тамара Константиновна, как всегда, дебелая, внушительно солидная, восседала по правую руку Олега Владимировича. Ее глаза полуприкрыты веками, и если она разрешает себе глядеть в мою сторону, то взгляд ее в эти минуты ничего не выражает, кроме равнодушного презрения. Прошло то время, когда Тамаре Константиновне с ее властолюбием, заимствованным от Степана Артемовича, приходилось считаться со мной. Я уже для нее не противник. Весь ее надменный вид говорит, что она нисколько не удивляется тому, что случилось, она ждала этого.

Учительницы — Евдокия Алексеевна Панчук (двойной подбородок придает ее лицу заносчивое выражение) и тихая Горшакова, обе домовитые хозяйки, наверняка поженски сочувствуют Тоне, исподтишка с отчужденным любопытством поглядывают на меня.

Но больше всего меня интересует, что скажет обо мне Василий Тихонович. Он сидит, опустив свой костистый нос к столу, всей пятерней влез в жесткую шевелюру, пока еще ни разу не взглянул в мою сторону. Что-то скажет он?

Я должен подняться и опровергнуть письмо Тони. И казалось бы, что может быть проще — опровергать неправду, но нет, попробуй-ка доказать, что все не так, что я иной. Я говорю несколько фраз, скучных, бесцветных, ненужных, и замолкаю. Тогда Тамара Константиновна, не глядя на меня, обращаясь в пространство директорского кабинета, начинает задавать вопросы. Они произносятся сонным голосом, но от них кровь бьет в голову, до боли сжимаются кулаки.

— А скажите, Бирю-уков, — тянет она, — вы имели интимную связь с этой женщиной до того, как ушли от жены?

Я сдерживаюсь: спокойствие — моя единственная за-

щита. Закричать, вознегодовать — значит показать, что потерял голову, значит доставить радость этой жестокой и мстительной даме с дебелим лицом римской матроны.

— Я отказываюсь на это отвечать, — говорю я спокойно.

— Вас удовлетворяет такой ответ? — чуть повернув голову в сторону Олега Владимировича, спрашивает Тамара Константиновна.

А Олег Владимирович сердито сопит, двигает широкими бровями.

— Тамара Константиновна, это действительно не имеет значения, — говорит он. — Нельзя же превращать партсобрание в смакование каких-то щекотливых интимностей.

Тамара Константиновна чуть розовеет:

— А мне кажется, что такие вещи помогут распознать моральный облик нашего товарища.

Я не вступаю в спор.

Василий Тихонович сидит, склонив лицо к столу. Он упрямо молчит. Его молчание кажется мне зловещим. Олег Владимирович наконец спрашивает его:

— Ну, а ваше мнение, Василий Тихонович?

Он поднимает голову, из-под колючих ресниц скользит по мне чужим, бесчувственным взглядом.

— Я осуждаю Бирюкова за то, что он из-за этой связи забыл дело. В этом нет для него прощения. Но письмо... После того как я прослушал его, считаю: бежать надо от этой женщины, бежать немедленно, и подальше, куда-нибудь к Тихому океану. Вот мое мнение. Тамара Константиновна может не соглашаться с ним.

И он снова опустил лицо к столу.

После собрания я бросился по коридору, чтобы догнать Василия Тихоновича, чтобы выпросить у него прощение, чтобы восстановить прежнюю дружбу. Нам нужно быть вместе, нельзя жить порознь, он это знает так же хорошо, как и я.

— Василий... — робко окликаю его.

Но он не оглянулся, лишь увеличил шаг. В его прямой, крепкой спине я почувствовал какую-то каменную отчужденность.

У Вали появилась своя жизнь. Иногда она уходила из дому утром, иногда после обеда, иногда возвращалась довольно рано, часов в шесть, иногда задерживалась в редак-

ции до полуночи. В свободное время она возилась по хозяйству: варила обед, мыла посуду, ходила в магазины. Я открывал свежие номера районной газеты и с ревнивым интересом вчитывался в то, что делала теперь она: в колхозе имени Семнадцатого партсъезда доярки такие-то взяли обязательства, в другом колхозе успешно разворачивается сеноуборка — скошено столько-то гектаров, застоговано столько-то; ветеринарный врач Хохлов пишет о случаях заболевания среди молодняка — все это нужно, без этого не обойтись, но должно же появиться что-то новое, не клешневское. Нет, Валя не совершает революции в газете и, кажется, не собирается совершать.

И в наружности ее появилось что-то заурядное: волосы стянуты ситцевым платочком, на лице обидная озабоченность. За несколько дней она стала обычной служащей, каких много в нашем Загарье. Дни в пропахшей чернилами и типографской краской комнате редакции, в обществе унылого человека, посуда, обеды, магазины — все накладывает свою печать, не проходит бесследно.

Прежде я видел в ней какой-то ореол таинственности, неудовлетворенности, духовного смятения, а теперь — просто, понятна, никакого смятения, довольствуется маленьким, не бунтует, не жалуется и боится только одного, что я выскажу ей свое недовольство. Я часто ловлю на себе ее робкие взгляды, часто вижу у нее выражение подавленности, почти испуга.

Я по-прежнему любил ее лицо, ее глаза с синевой, просвечивающей сквозь светлые ресницы, любил ее тонкие руки, ширококостные у запястья, ее волосы, мягкие, легкие, покорно скользящие между моими пальцами, любил едва уловимый, свежий, теплый запах ее тела. Я по-прежнему любил ее, но как-то по частям, по отдельности — руки, глаза, волосы, но в целом я испытывал разочарование. И мне становилось страшно: разочарование! Так быстро? Ведь мы прожили вместе всего каких-нибудь две недели! Что-то будет дальше? Мы же рассчитываем прожить вместе всю жизнь.

И эта странная смесь болезненной любви и разочарования неожиданно прорывалась в приливах внезапной жалости. Приливы жалости к ней у меня случались и раньше, задолго до нашего сближения. Но в той жалости не ощущалось ничего унижительного, то было желание спасти ее, подставить плечо. После такого прилива я каждый раз чувствовал себя сильным, способным на подвиг. Теперь же жалость была беспомощной, приводящей меня в смятение.

Она мечтала о широкой жизни, пусть сложной и трудной, но жизни, где совершаются значительные дела. Мечтала, надеялась, была недовольна сама собой. Это недовольство, ее страстность и подкупили меня, заставили внимательнее к ней присмотреться. И вот редакция районной газеты, работа, которую может делать такой, как Клешинев, человек, лишенный всякого таланта, душевной пронизательности, — ходячая скука в пиджаке с протертыми локтями и служебной плешью на макушке. Она смиренно приняла свою долю, оставила свои мечты. Ради чего? Ради меня, ради того, что она в меня верит. Она писала, что я для нее великий человек. Великий! Положим, ради великого можно отдать себя в жертву. Но какой я великий?..

Я припомнил разговор в номере гостиницы с моим старым приятелем по институту кинематографии Юрием Стремлянником. Я спросил его об Эмме Барышевой, и он мне ответил: «Канула...» А Эмма Барышева была лучшей студенткой на нашем курсе. Она обещала стать среди живописцев звездой, пусть не первой величины, но наверняка заметной. И не разгорелась... Что ей помешало? Муж, семья, дети? А может, бросилась зарабатывать длинные рубли? Не все ли равно, как это случилось. Не сумела использовать свою жизнь достойно, растратить разумно свои силы.

Почему я, человек без особых способностей, не одаренный значительным умом, должен оказаться в числе особых удачливых?

Идешь в гору, напрягаешь все силы, дразнишь свое воображение величественными вершинами, и вдруг — стоп! Ты достиг своей вершины, она не выше, чем у других: обычный холмик, который доступен многим. Достиг его, а теперь спускайся в долину, где беспечно блаженствуют Акиндины Акиндиновичи. Эти дни, возможно, и есть начало стремительного спуска. Стану барахтаться, напрягать остатки сил, рваться вверх...

Но где этот верх, где вершина? Ведь теперь, когда я пробую взглянуть вперед, я ничего не вижу.

Оглядываясь назад, на свое дело, я теперь начинал сомневаться и в нем. Самому себе и другим я постоянно твердил: «Давайте искать!» А правильно ли я начал свои поиски? Новые приемы в преподавании — оргдиалог, активизация ученика на уроке... Я не считал их универсальным рецептом, спасительным средством от всех бед. А если предположить, что их признают, заставят всех без исключения учителей ими пользоваться, вставят в методические

письма и инструкции, наложат печать казенщины? В педагогике появится новый шаблон, и я, считающий себя противником всяческих шаблонов, выходит, способствую его появлению. С одной стороны, мне хочется, чтоб меня поняли, на путь моих поисков стало как можно больше учителей, с другой стороны, я боюсь этого. Даже в деле своем я не уверен, даже за поиски свои я не спокоен!..

Валя, Валя!.. Ты ждешь от меня великих дел. Ты надеешься, что когда-нибудь снова прислонишься к моему плечу и скажешь: «Как я счастлива! Какая жизнь!» Не будет же этого! Я обманул тебя. Ты готова сейчас сидеть в редакции, выносить придирки Клешнева, крутиться по хозяйству. Ты думаешь, что это путь к чему-то заманчивому и значительному, а на самом деле будет все то же самое: та же редакция, тот же Клешнев, те же утомительные, мелкие хлопоты об обеде, об ужине, о чистоте моих сорочек. Я боюсь сказать тебе это. Я продолжаю обманывать тебя!

В конце-то концов ты поймешь этот обман, разглядишь меня, проникнешься презрением ко мне, а быть может, и ненавистью. Кто знает, когда это произойдет: завтра, через неделю, через много-много лет, когда уже будет поздно отступать, когда ничего другого не останется, как смириться?..

Мне жаль тебя, Валя, но моя жалость беспомощна. Самое честное — это сказать тебе: «Отвернись от меня, иди обратно к Ващенкову, там привычное, там не будет позорных разочарований». Я не осмеливаюсь. Но если б даже я и осмелился, ты все равно мне не поверишь, ты станешь меня успокаивать и разубеждать. Я бессилён...

Временами меня охватывало негодование на самого себя. Неужели все потеряно? Неужели я так раскис, что не могу действовать, не могу воевать? Никогда я так не опускал руки! Коковина, Тамара Константиновна, Анатолий Акиндинович — неужели они непреодолимы? Они обычные люди, не слишком умные, не слишком волевые, даже не очень-то верящие в правоту того дела, которое отстаивают. И я пасую перед ними! Я отчаиваюсь, я ничего не могу предпринять! Надо действовать, писать в область, требовать новых обсуждений, надо сразиться с Коковиной, доказать свою правоту, завоевать снова уважение! Это трудно, авторитет мой подмочен, на меня глядят с сомнением. Трудно! Но разве невозможно?..

Нужны друзья. В первую очередь следует объясниться с Василием Тихоновичем, со всей искренностью, на какую

я способен,— пусть осудит, но пусть и простит. С нашего полного примирения и должно начаться мое возвращение в жизнь. А уж тогда и без особого страха могу глядеть в глаза Вале. Тогда посмотрим, заедаю ли я ее жизнь, обманиваю ли ее надежды.

И вот я решился. Натянув на глаза кепку, я отправился к дому Василия. Шел, глядел под ноги, и меня лихорадило. Сейчас встретимся, сейчас я ему все скажу. Скажу, что нас сроднили не сходность характеров, не какие-то неощутимо духовные симпатии, а дело, труд, которому каждый из нас с одинаковым желанием готов отдать свою жизнь. У нас одни взгляды, мы одинаково представляем себе будущее. Так и скажу: «Не знаю, как ты, а я без тебя чувствую себя слабым и беспомощным. Не может быть вражды между нами! Все, что случилось, нелепость, постыдное недоразумение. Я прошу у тебя прощения. Если хочешь око за око, то вот тебе мое лицо, ударь, расплатись — и забудь...»

Я вышел уже на ту улицу, где жил Василий, испытывая все то же лихорадящее нетерпение. Разве можно не пойти мне навстречу? Не замечал в Василии мстительной мелочности. Он поймет, он не отвернется!

Да, но Валя... И эта мысль заставила меня остановиться посреди дороги. Наша ссора произошла из-за нее. Вряд ли Василий изменил о ней мнение. Наоборот, озлобившись на меня, он не может не озлобиться на Валентину. Я не могу не защищать ее. И если Василий Тихонович снова повторит?.. Нет, мне с ним нельзя встречаться! Хватит и того, что есть на моей совести. Я повернул обратно.

С Василием Тихоновичем помириться не могу. Коковинной и Тамаре Константиновне не могу сопротивляться. Писать в область? А там Павел Столбцов, теперь-то мне известно, как надеяться на его поддержку. Потребовать нового обсуждения? Резонно спросят: «Где вы, дорогой товарищ, раньше были?» Ничего не могу. Бессилен!

Дома ждет Валя, любящая, жертвующая, слепо верящая. Я должен делать вид, что достоин ее любви, жертвы. А это обман. Бессилен что-либо сделать...

Так шел наш медовый месяц.

22

Я бездельничал, я совсем перестал приходить в школу, тем более что школа в моих посещениях не нуждалась. Все парты были вытащены во двор, сложены баррикадами: в школе полным ходом шел ремонт.

Я бездельничал, а за моей спиной решались мои дела, плелись не слишком-то хитрые интриги.

В райком партии, к Кучину, который временно замещал Ващенко, поступило заявление от Тамары Константиновны. Она писала, что парторганизация Загарьевской средней школы недостаточно объективно подошла к разбору моего персонального дела, что партийным органам следовало бы поинтересоваться причинами той травли, которая в свое время была создана вокруг Степана Артемовича Хрустова.

Олег ли Владимирович посоветовал, или сам Кучин догадался спросить Степана Артемовича, не знаю. Но бывшего директора вызвали в райком.

Степан Артемович жил в своем домике тихой жизнью пенсионера. В обычные часы выходил на прогулку, постукивая по дощатым тротуарам палкой, остальное время копался на огороде, ухаживал за кустами смородины и малины, разбил под окнами цветничок, единственный цветник на все село, если не считать маков, посеянных на морковных грядках.

Он с обычным своим достоинством появился в райкоме и на прямой вопрос о травле ответил:

— Бирюков упрям и дерзок. Его можно лишь упрекнуть, что добивается невозможного. А травлей он не занимался.

Меня даже не потревожили, о его ответе я узнал от других. Сам же Степан Артемович, случайно столкнувшись со мной возле моста, ответил на мой поклон чуть заметным кивком.

Как и прежде, я просыпался в семь утра, но не сразу поднимался с постели. Мне не нужно было спешить, меня ждал бесконечно тягучий, утомительно скучный день. Нечем заниматься, только ночь спасение, только засыпая, я мог не замечать, что жизнь моя пуста и ничтожна, не надо ни о чем думать.

День изо дня дикая скука, ядовитые мысли и, что самое ужасное, сознание, что это положение не на время, нет надежды на лучшее. От безделья не только тушеют; чтобы как-то разорвать непрерывную цепь ненужных дней, от безделья идут на преступление.

И опять я нашел убогое наслаждение в воспоминаниях. На этот раз я вспоминал не те дни, которые я провел с Валеи в городе, не открытое окно в гостинице, не пустынный утренний город с непотушенными фонарями и цением птиц. Я теперь вспоминал о том, как хорошо жил прежде, как был тогда уверен в себе, какое прочное ду-

шевное равновесие испытывал. Вспоминал свой стол и то увлечение, с каким я засиживался за ним ночами. Я тогда чувствовал себя непревзойденным режиссером тех уроков, которые надлежало разыграть на следующий день. Я знал, что мою работу ждут, моей работой интересуются не только мои сторонники вроде Василия Тихоновича, Ивана Поликарповича, Олега Владимировича, но и такие противники, как Тамара Константиновна. На меня могли глядеть с неприязнью, но относиться равнодушно ко мне не могли. А если у меня вдруг оказывалась свободная минута, как я ей радовался! Не раздумывая, я отдавал эту случайную минуту Наташке, мастерил ей бумажных змеев, читал ей книги, искал на нарисованном острове пиратские сокровища. Я сейчас не вижу Наташки. Что-то она думает об отце, который ушел от нее? Что она думает? Нет, это нельзя трогать, подальше от таких мыслей!.. Тоня... Она никогда меня не понимала, мы всегда были далеки друг другу, а ее письмо!.. И все-таки с Тоней мне всегда было проще, чем с Валею. Никогда не приходилось задумываться с таким мучительством: а не заедаю ли я ее жизнь, не обманываю ли ее? Меня не пугало, что вдруг да разочаруется, вдруг да поймет мое ничтожество. Я твердо знал: Тоня счастлива своей небогатой по событиям жизнью, стоит мне захотеть, и она всегда будет довольна мною.

Если б все вернуть! Вернуть товарищей, вернуть Наташку, обрести душевный покой и уверенность в себе. Я мечтал о прошлом, как мечтают солдаты в окопах о том мире, где они когда-то ходили во весь рост, сидели за столами, читали по утрам свежие газеты, жили не в земле, а в просторных домах, спали на чистых простынях и не боялись, что с минуты на минуту случайный снаряд смешает их кости с окопной грязью.

Валя работала, я часто оставался один и почти все это время предавался воспоминаниям, мучительным, прекрасным, ненужным, ничтожным. Я потерял над собой власть.

Как-то я лег спать и долго не мог заснуть. В низенькие оконца избы пробивался свет луны, ложился полосами на некрашеный пол. За перегородкой на печи похрапывала хозяйка. Валя еще не возвращалась с работы.

Но вот за окном по облитому луной травянистому дворику прошуршали легкие шаги, заскрипело крылечко, стукнула дверь, вошла Валя. Я слышал, как она скинула у порога туфли. Наша хозяйка Марья Никифоровна, спав-

шая по-старушечьи чутко, проснулась, спросила хрипловатым сиротонья голосом:

— Валуша, это ты, голубушка?

— Спи, спи, Никифоровна,— тихо отозвалась Валя.

Но Никифоровна зашевелилась на печи:

— Ужо отосплюсь. А ты ешь, ешь себе, не обращай на меня внимания... Ну и работку ты подыскала — ночь за полночь, а сиди.

— Номер сдавали.

— И в прошлый раз номер и теперь. Когда их, все эти номера, сдадите?

— Никогда.

— Тяжело тебе, девонька?

— Нет.

Бесшумно ступая, Валя вошла на нашу половину, сбросила тапочки, встала маленькими босыми ногами в лунную полосу, покоящуюся на шершавых половицах, принялась раздеваться, роняя на пол из волос шпильки.

Я окликнул:

— Валя.

— Ты не спишь? — отозвалась она.

В голосе ее я уловил радость: не сплю, жду ее, она благодарна мне за это.

— Валя... Присядь сюда. Я хочу поговорить с тобой.

— Слушаю,— голос ее сразу же потух. Она покорно присела ко мне на кровать, полураздетая, с распущенными по плечам волосами, с настороженно поблескивающими в темноте глазами.

— Валя. Не перебивай, не возмущайся, выслушай...

— Я слушаю.

— Валя, я не тот, за кого ты меня принимаешь. Я сломался и тебя сломаю.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Тебе надо бежать от меня. Пойми, Валя, я неудачник. (Даже сам для себя я впервые осмелился произнести это слово!) Теперь в этом не приходится сомневаться. Посвятить неудачнику жизнь — не только незавидная, но и унижительная доля. Валя, родная, пока не поздно, уходи...

— Куда?

— Куда?.. Я боюсь это произнести, но надо. Уходи обратно к Петру. Он лучше меня, достойней меня. Как бы ни сложилась там твоя жизнь, все-таки будет там покой и ясность, все-таки тебе не придется принимать на себя отчаяние, унижение и озлобленность неудачника. Я пока

себя сдерживаю, но надолго ли мне хватит сил сдерживать себя? Зачем тебе тянуть на себе ничтожество? Да, да, это так, я сам в себе ошибался, тебя обманывал. Против своей воли обманывал.

— Ты не хочешь, чтоб я жила возле тебя?

— Хочу одного, Валя,— спасти тебя. Пустота впереди, никакого проблеска. Пойми это...

— Не вернусь обратно,— проговорила она.— Как впереди будет, не знаю, но сейчас я довольна. Я живу, понимаешь, живу, у меня есть задача — вытянуть тебя из беды, помочь тебе, поддержать. Пусть трудно, но именно поэтому я и испытываю полное удовлетворение. А ты хочешь, чтоб я вернулась обратно. Опомнись, Андрей, сейчас ты делаешь страшное дело. Страшное для тебя, страшное для меня!

— Но ведь обман! Жить в обмане! Что может быть страшнее? Я сам не верю, что меня можно поддержать, что мне можно помочь!

— А я верю. Что бы ни случилось, верю! Андрей, милый.— Она прислонилась ко мне, ее волосы упали мне на лицо.— Верю в тебя! Ты из тех людей, которые в конце концов или будут жить по-настоящему, или откажутся от жизни. Пока ты со мной, ты будешь жить, будешь верить в себя. Не мной сказано, что в жизни бывают не только свои оазисы, но и свои пустыни. Так перейдем же вместе эту пустыню, не отталкивай меня, со мной тебе будет легче. Другого такого верного товарища ты себе не найдешь.

Рядом решительно блестят ее глаза, волосы касаются моего лица, я чувствую на лице ее взволнованное дыхание. Почти фанатическая вера звучит в ее словах. Она верит, она заражает этой верой. Возражать ей сейчас — святотатство! Я протянул к ней руки и обнял. Верю ей! Всякое несчастье, как бесплодная пустыня, имеет свой конец, рано или поздно я начну снова искать, а раз будут поиски, то будут и находки. Переживал же я и раньше минуты отчаяния. Тогда переживал в одиночку, теперь со мной она, все понимающая, любящая, верящая, предлагающая мне свою жизнь. Как я могу отказываться от нее?..

Я уткнулся ей в плечо.

Утром я вышел на крыльцо с полотенцем на плече. Валя одевалась в комнате. В открытое окно я услышал, что она негромко напевает.

Она возвращается по вечерам с работы осунувшаяся от усталости. Глядя на нее, я всякий раз чувствовал, что прошедший день был для нее нелегким. И сегодня у нее впереди обычный день — пропахшая типографской краской комната редакции, Клепшев, как наказание, сидящий над душой, работа, которой Валя не увлечена. А она поет, радуется наступающему дню.

За завтраком она была спокойна, ровна, глаза просветленные, доверчивые. Но теперь, кроме доверчивости, я уловил в ее взгляде непривычную для меня уверенность. Такую же непривычную, как и недавнее пение.

В ситцевом платочке, туго стянутом на волосах, она отправилась на работу. Я глядел ей вслед с крыльца. От прежней Валентины Павловны осталась только походка — мелкая, напористая, грудью вперед, со вскинутым подбородком.

Я слишком был занят самим собой, до сих пор замечал лишь ситцевый платочек, озабоченность на лице, внешнюю обидную опрошенность. И опять — который раз! — она новая, не совсем понятная мне.

Дом пуст, в школу идти рано, да и не хотелось. В это утро, как никогда, я почувствовал себя одиноким. Снова охватило тяжелое беспокойство. Она верит... Но чем могу оправдать ее веру? Надо что-то предпринимать, как-то действовать... А что? Как? У меня по-прежнему пусто в душе, в голове хоть шаром покати — ни одной здоровой мысли. Вера, которую она мне вчера сумела внушить, держалась до тех пор, пока Валя была рядом. Вот она ушла — дорогой человек, знакомый и непонятный. Верит... Вдруг да с расчетом идет на обман, трезво решила, пока можно, поддерживать меня? Пока можно! Пока есть у нее силы. Она жертвует собой для меня, как когда-то собиралась жертвовать для Ващенкова.

Идти некуда, делать нечего, а летний день долог. Хватает времени для размышлений. Чем дольше думаешь о Вале, тем запутанней кажется мне отношение к ней. Надо гнать бесполезные мысли.

Не думать о Вале, но тогда вспоминается Наташка. Я постоянно ощущаю пустоту, не могу сидеть на одном месте, тянет пойти к ней, и оттягиваю встречу: что скажу, как взгляну в глаза?.. Иногда с соседнего двора в открытое окно доносится детский крик — я вздрагиваю.

Я знаю всех детей на улице. Загорелые, в вылинявших рубашонках, в залатанных штанишках — деревенская беспечная вольница. Я наблюдаю за ними, как они дразнят

старого сердитого козла, как рысцой бегут вдоль нашей изгороди на речку, держа на весу удочки.

У меня так много теперь свободного времени. С каким бы наслаждением я его отдал Наташке! Каких бы змеев мы запустили в небо! Какие бы истории я ей порассказал! Нет Наташки!..

Нельзя думать о ней! Нельзя о ней, нельзя о Вале, а день тянется медленно. И завтра точно такой же день, точно такие же мысли. Лучше уйти в школу, в чужую, пустынную, неуютную, легче переносить там встречи с Акиндином Акиндиновичем, испытывать при этом жгучую неловкость.

В этот день Валя пришла раньше обычного, на ее лице вместо усталости я заметил сердитую решительность.

— Что случилось? — спросил я.

— Ничего.

— А все-таки?

— Каждый день случается, — и ее лицо вспыхнуло. — Нет, я прищемлю его.

— Да что случилось?

— Пришло письмо о махинациях Гужикова. Сделал в райпотребсоюзе частную лавочку с широким размахом. Клепшев боится Гужикова, старается замазать.

Она, порозовевшая, с налитыми синевой глазами, вскочила со стула, прошлась грудью вперед, вызываясь вздернула вверх подбородок, резко повернулась:

— Дождется!..

И я не нашелся что ответить. У меня хватало своих бед, маленькие недоразумения с Клепшевым казались далекими и ненужными. Валя принимает мое, верит в меня, готова служить мне, а я даже посочувствовать не могу. В ту минуту, когда она говорит, я холоден, как мартовский сугроб на солнце.

Она решительно заявила:

— Пойду к Кучину сейчас, немедленно. Выложу все!

Я поддакнул:

— Да, да, стоит... Сходи сейчас...

Я весь день ждал прихода Вали, как спасения. Мне казалось, что рядом с ней мне будет спокойнее. Но теперь я рад, что она уйдет.

Валя ушла. А я, чтоб не оставаться в опостылевших за день стенах, решил выйти на улицу.

На небе тлел сухой закат. По нему чертили ласточки. Трепал мотоцикл за рекой.

Беззаботное пение Вали утром, новое для меня выра-

жение уверенности в ее лице, дерзкое слово «дождется!..», ее запал — неужели все это поддерживается одним желанием, одной страстью: помочь мне, поддержать меня? Она же пробовала работать в редакции при Ващенко, с ней такого не случалось. Как ответить ей? На душевную щедрость не отвечают холодом.

Зловещий красный закат тревожил меня, бередил душу. На дорогу вышло стадо, подняло розовую пыль. Женский голос ласково звал корову:

— Ночка! Ночка! Иди, дурная. Иди, милая...

Неожиданно я почувствовал, что кто-то за мною следит. Я оглянулся: держась одной рукой за колышек оградки, в стороне стояла Наташка. Она напряженно глядит на меня. Но в ту секунду, как только наши глаза встретились, опустила лицо, а с места не двинулась, вцепившись загорелой рукой в колышек забора, старательно выдавливает босой пяткой лунку в земле. Долговязая не по возрасту, в коротеньком платице, с обожженными солнцем ногами и руками, худенькие икры покрыты царапинами, стоит, опустив голову, выставив льяную макушку. Она, верно, давно уже наблюдает за мной, ждет, когда я обернусь и замечу ее, ждет, чтоб я подошел.

От неожиданности, от страха перед этим существом меня прошиб липкий пот, потемнело в глазах, на секунду остановилось сердце: впервые в жизни я почувствовал, что вот-вот упаду в обморок.

Непослушными, свинцовыми ногами, с хрустом неуклюже давя песок на дорожке, я направился к ней:

— Наташенька!..

Она еще ниже склонила голову. Она плакала.

— Наташенька, милая.

Я опустился перед ней на корточки:

— Доченька моя родная!.. Наташенька!.. Славная моя!.. Я тебя люблю. Я ни на минуту не забываю...

Вдруг ее тонкие-тонкие, легкие, горячие ручонки обхватили мою шею. На секунду под своими руками я почувствовал вздрагивание ее острых плеч, мокрое лицо прижалось к моей шершавой щеке.

— Пап... — вскрикнула Наташка, вывернувшись из-под моих рук и исчезла.

Я с трудом поднялся, оглушенный, разбитый. Стучало в висках, перед глазами плыли оранжевые пятна, похожие на клочки рассеявшегося заката. Ощущение тоненьких невесомых ручонки на шее, вздрагивающее, угловатое, по-детски тощее тело, мокрая щека и это «пап», страдаю-

щее, любящее!.. Она простила меня. Простила не так, как прощают взрослые, а без всякого расчета, без раздумья. Простила потому, что любит.

Я стоял нетвердо на ногах, продолжая ощущать тонкие руки на своей шее.

Спотыкаясь, как пьяный, я добрался до дому.

В комнате душно, гудят мухи на оконных стеклах, на полках в приглушенном закатном свете поблескивают корешки книг — Валиных книг, которые она теперь не читает. На стене висит знакомый, изученный вдоль и поперек пейзаж ельничка на болоте. Не хочу ни о чем вспоминать, не хочу ни о чем думать, кроме Наташки.

Тонкие ручонки, охватившие мою шею. Попробуй-ка оторви их от себя, откни в сторону! Какое сердце может выдержать это ощущение горячих детских рук! Я человек, а не камень. Я отец ей!..

Разве мне не ясно было и раньше, что никого нет на свете, кого бы я любил больше ее? Ничего нет дороже, ничего нет ближе!

Она еще не начала жить, еще только по-детски стала чувствовать и переживать, а я, ее любящий отец, в незащищенную, доверчиво открытую душу наношу рану. Время излечит? Может быть, и излечит, но все равно в душе останется шрам. Не мои, а чьи-то чужие глаза будут следить, как она растет день за днем. Не мои руки, а чьи-то другие станут направлять ее жизнь. Чьи-то глаза, наверняка менее любящие, чьи-то руки, наверняка менее бережные...

Валя... Но разве Валя такая беспомощная, как Наташка? Даже если на секунду предположить, что я смогу Вале что-то дать, чем-то помочь (ой ли, сомнительно!), то Наташка наверняка больше нуждается в моей помощи. Хватит отмахиваться, хватит убегать от мыслей, связанных с Наташкой, пора подумать о дочери и Вале вместе. Поставь для себя вопрос: кто тебе дороже? Поставь и честно ответь. За спиной у Вали часть жизни, совершенно чужая тебе. Знаешь о ней только понаслышке. А жизнь Наташки?.. Разве ты не помнишь, как топтался возле крыльца родильного дома? Разве ты забыл, как тебе в руки передали завернутое в большое одеяло что-то, пока не имеющее для тебя ни лица, ни имени, но что-то живое, от прикосновения к которому екнуло сердце? Разве ты не

радовался первой гримаске, похожей на улыбку? А первые шаги, когда детская ручонка судорожно стискивает твой большой черствый палец?.. С первого часа тебе принадлежит ее жизнь. Почему же ты должен от нее отказаться? В Вале течет чья-то кровь, кровь каких-то незнакомых тебе людей, а в Наташке — твоя собственная. У нее твои глаза, твои волосы, твой лоб. Наташка — это ты, освеженный природой, ты, кому суждено будет жить после твоей смерти. Нет, даже ради Вали не смеешь поступиться Наташкой...

Наташка ждала, чтобы побыть наедине. Она ничего не просит, ничего не требует, она просто любит. И я должен отвернуться от ее любви! Невозможно!..

На Валином столике среди флаконов и коробочек — нераспечатанное письмо. Его не было, его принесли, когда мы ушли из дому. Твердый конверт с размашистым адресом — от Ващенкова. Уже не первое письмо. Этот человек продолжает любить Валу...

Я виноват перед Тоней, что изменил ей, она виновата, что оклеветала меня в письме. Подлое письмо! Трудно простить клевету. Но если хочу, чтоб рядом была Наташка, то как еще поступить иначе? Придется простить письмо, придется смириться...

Надо дожидаться Валу, сказать ей все в глаза. Если уж предавать, то в открытую. Сказать?.. Видеть ее, слышать ее голос, снова почувствовать ее неистребимую веру. Нет, я не могу устоять перед Валею. При виде ее меня покинет решительность, и я останусь. Останусь, а потом без конца буду вспоминать Наташкины руки, без конца терзаться. Конец таким терзаниям один — уйти.

Я сел и, боясь, что Валя с минуты на минуту может вернуться, начал писать письмо. Сумбурное, трусливое письмо, со слезой, с самоунижением, с путанными объяснениями, что не могу жить без дочери.

Это письмо я положил рядом с письмом Ващенкова. Взял свой чемодан, бросил в него свои вещи: пару белья, полотенце, рабочие брюки. У дверей остановился. Что обо мне подумает Валя? Мне это не безразлично.

Во дворе стукнула калитка. Я вздрогнул, опустил чемодан. Но под окном прошла Марья Никифоровна, на крыльцо не поднялась, загремела ведром возле сарая. Если Валя застанет меня, не смогу уйти. А может, не уходить? Опомниться?.. А Наташка, а ее руки?.. Перешагнуть через позор! Презирая себя, перешагнуть!

Я выскочил во двор...

Калитка, знакомое крыльцо, дверь. На столе стоит самовар, глаза Тони округляются, лицо пунцовеет от неожиданности. У нее гость. Более неприятной встречи не могло быть для меня. Напротив Тони, развалившись на стуле, сидит Анатолий Акиндинович, по-домашнему, в одной сорочке. Острый, длинный нос вздернут, он только что с обычным апломбом рассуждал. О чем? Конечно, обо мне. Он приподнимается, на лице легкое смятение.

И Наташка еще не спит. Она не вскочила со стула, она низко склонилась над своим блюдечком.

Секунду-другую мы все молчали. Я стою возле дверей с чемоданом в руке, у стола в неловкой позе Анатолий Акиндинович, а Тоня как сидела, так и сидит, наверно, не имеет сил подняться.

Я заговорил первый:

— Анатолий Акиндинович, мне нужно поговорить с Тоней.

Голова гостя высокомерно откидывается назад, узкая грудь выпячивается.

— Я уйду, Андрей Васильевич, — начинает он холодно, — но...

— Вы это потом скажете, на досуге. А сейчас прошу...

Тоня молчит, не собирается мне возражать. Анатолий же Акиндинович вскипает:

— Я уйду, но прежде все-таки скажу. Скажу, что вы непорядочная личность, вы, больше того, гнусная личность. Да, да! Эта женщина — святой человек. Вы недостойны ее!

Я шагнул вперед, как можно бережнее взял сразу съжившегося Анатолия Акиндиновича за шиворот, и он, путаясь ногами, не произнося ни слова от изумления, придерживаемый мною, зашагал к двери.

— Мой пиджак! — кричит он уже из-за дверей.

Я снимаю со спинки стула его пиджак и сую ему в руки.

— Это возмутительно! Это рукоприкладство! Подобные вещи не проходят даром!

Я захлопываю дверь.

Тоня в это время поднялась, выпроводила поспешно в кухню Наташку, сама встала передо мной, знакомая, ничуть не изменившаяся — крупные плечи, маленькая голова, круглое неподвижное лицо, полные бедра, туго обтянутые юбкой. Она покосилась на брошенный у порога знакомый чемодан, и напряжение в ее округлившись глазах исчезло, губы сомкнулись. От сытых плеч и бедер, постно-

го выражения на ее лице я сразу же не то что представил, а как-то почувствовал длинную-длинную череду дней, похожих друг на друга, как удары маятника у старых часов: завтрак, обед, ужин, постель, завтрак, обед, ужин, постель, в промежутках работа, разговоры о картошке, о получке, о гостях, о пирогах... Дни, знакомые наперед, как знакома эта стоящая передо мной женщина с мелкими бусами на сдобной шее — богиня домашнего очага, царица крохотного мира.

Она готова стать великодушной, эта царица, она собирается простить меня. Боже мой, на что я иду?!

Но чемодан уже стоит у порога, в кухне притаилась Наташка. Я устало опустился на стул.

— Образумился? Или прогнали тебя?..

Я угрюмо оборвал:

— Давай без нотаций. Согласна — принимай. Пет — не буду навязываться. Возвращаюсь ради Наташки.

— А я для тебя пустое место?

— Нет, не пустое. Ты мать Наташки.

— И только?..

— Только...

Тоня смолчала.

Так снова началась моя жизнь в старой семье.

25

Что мне рассказать о первых днях моего возвращения?

Рассказать о том, что продолжал не любить Тоню, что один вид ее — круглое, с крепко сомкнутым ртом лицо, ее пышные плечи, бесстыдные бедра — вызывал во мне раздражение?..

Валя продолжала жить, как жила. Она ничем не напоминала о себе. Я по-прежнему ревниво следил за нашей районной газетой. Я стал любить ее. Прочитав до последнего знака, всю с титула до подписи Клешнева, отложив в сторону, я сразу же испытывал нетерпение: скорей бы следующий номер! Статья о Гужикове появилась. В тот день я думал только о Вале, я радовался за нее и страдал...

Валя не собиралась ехать к Ващенкову. Что ей Загарье? Не родина, к которой кровно привязана. Здесь у нее нет никого, кроме меня. Ради меня осталась! Ради меня живет! Продолжает любить, продолжает верить!

Валя, Валя! На что ты надеешься? Как ты можешь меня оправдывать? Ведь я же предал тебя! Я даже не мо-

гу сейчас с тобой встречаться. Я должен делать вид, что я добропорядочный семьянин, что забыл о тебе, зачеркнул тебя в душе. Каждый день, каждый час тебя вспоминаю. Но тебе-то от этого не легче. Зачем ты мучаешь себя, мучаешь меня? Я оборвал, ты не рвешь, ты надеешься. Валя, Валя! Не обманывай себя, отвернись и прости, если можешь. А не простишь, твои упреки, твою обиду приму, как должное, по праву заслуженное.

Я опять стал часто припоминать случай в московском метро. Мелкий дождь над Красносельской площадью, торопливый удаляющийся стук каблучков по мокрому асфальту. Там был мимолетный эпизод, непроверенная, туманная надежда на счастье. Бог с ним, с этим непроверенным счастьем! Но теперь-то я отказался от счастья проверенного. Сам отказался!..

Но есть еще Наташка. Я счастлив, что она рядом.

Меня порой охватывала дикая нежность к дочери. Вот она, с испаряющимися коленками, со светлой челкой волос над выпуклым детским лбом, с бездумными, открыто распахнутыми глазами. Я хотел, чтоб она проводила время только со мной, чтоб забыла двор, улицу, свои нехитрые забавы со сверстниками, игры в палочку-выручалочку, крышу сарая, где стоит клетка с голубями. Я мастерил ей игрушки, вспоминал забытые сказки. Нежность моя была так обильна, так не походила на мою прежнюю ровную любовь, что Наташка робела, держалась со мной с отчужденной застенчивостью и в конце концов утомлялась, личико ее принимало просительное выражение. А это меня пугало, я хотел, чтоб на мою ненасытную нежность она отвечала такой же нежностью.

И после этих порывов на меня находило разочарование, на какое-то время я становился прохладен к дочери.

Наташка же, встречая вместо преувеличенной ласки холодность, еще больше робела и начинала чуждаться. А это снова вызывало во мне бунт совести. Она-то в чем виновата, что я несдержан, что я неумерен? Почему она должна терпеть мою холодность, мое равнодушие? И снова неистовая, неумеренная нежность... Я сам мучился, мучил дочь.

Я пытался лечить себя.

Уходил с удочкой и пустым ведром на реку, забивался куда-нибудь подальше от людей и ловил пескарей. Ловил до тех пор, пока дно цинкового ведра не скрывалось под толщей сплывающих рыбешек. Вечером же я брал лодку Акиндина Акиндиновича — громоздкое, неуклюжее судно,

добротное, как все в хозяйстве моего соседа. Облюбованная мною заводь называлась Подкудиновской, по имени деревни Кудиновки, приютившейся напротив, за полем ржи. С лодки видны ее крыши да рваная верхушка старого тополя, богатырем стоящего средь приземистых изб.

В этой заводи я забрасывал перемет. При течении, хотя и не быстром, наживить на тяжелой лодке пятьдесят крюков — дело нелегкое и для двоих, когда один сидит на веслах. Но я наловчился. Пока течение сносило мою лодку, я перебирал крюк за крюком, зацепленные за губу пескари шлепались за борт один за другим. Потом я клал на корму камень, который был привязан к концу перемета, и «заносил» его, то есть выезжал на середину реки и опускал на дно.

И я был рад тому, что завтра чуть свет у меня есть занятие, что мне сейчас надо пораньше лечь спать, ни о чем не думать, заботясь лишь о том, чтобы подняться до восхода солнца.

На рассвете, едва продрав глаза, я начинал спешить: скорей, скорей к реке, ключ от лодки — в карман, багор — во дворе, скорей!..

Росаяная трава обжигает босые ноги, улицы села пустынные, солнцу не взошло, все кругом серовато-голубое, притушенное, свежее. Ей-ей, секундами испытываешь радость, бездумную радость свободного зверя. Ни забот в голове, ни мыслей.

Подкудиновская заводь черна и неподвижна, дымится холодным туманом. Где-то в ее глубине, на дне, лежит, растянувшись, мой перемет, ждет хозяина.

Запускаю багор, веду по дну, лодку спосит. Ага! Зацепил! Подтягиваю упругую бечеву. Она шершавая от песка. Берусь за нее рукой — не хватаю, нет, осторожно, благоговейно берусь и сразу же чувствую живой, таинственный трепет...

Вот тут-то настоящее забвение. К черту все житейские неувязки! Ничего не существует на свете! Шершаво-колючая бечева в руке. По ней передаются толчки, идущие из глубины, толчки, от которых жаркой испариной обдает тело. На мгновение онемевает сердце и сорвется торжествующим галопом: «Есть! Есть! Что-то есть!»

Счастливейшая секунда! Ради нее я вчера весь день, засучив штаны, стоял с удочкой на солнцепеке. Ради нее до кости рассадил крючком палец. Это она, счастливая секунда, спасала меня вчера от мрачных мыслей, когда я,

прежде чем уснуть, ворочался с боку на бок. Она сорвала меня до солища с нагретой постели. Насладись же ею вдоволь, слушай — трепещет в твоей руке мокрая, пропитанная песком бечева, не спеши ее перебирать, продли тайну, скрытую толщей дымящейся туманом воды, помечтай...

Может, попалась знаменитая щука-дубасница. Она стара, как никто из живых. Она, возможно, старше самого села Загарья с его домами, старым и новым мостом, полустаростолетней церковью и еще более древней часовенкой. Она, эта щука, сбросила с себя шелуху икринки, когда люди не знали еще, что такое паровоз, когда величайшей скоростью на планете считалась скорость рвущей постромки тройки. Об этой щуке по всем ближайшим деревням ходят легенды. Говорят, что морда ее обросла зеленым мохом, что сотни крючков врубцевались в ее пасть. Немало выискивалось охотников поймать ее, и никто не смог. Может, тебе, Андрей Бирюков, блеснет дикое счастье? Может, на твоего пескаря позарилась мудрая царица этих вод, поросших хвостецом, кувшинками и осокой? Ну-ка, помаленьку начнем, поглядим, кто там...

Один крючок, другой — оба пусты. На третьем живой пескарь невинно суетится на поводке. Ого! Вот так рыбок! Надо держать крепче — щука! Так не рванет ни самый матерый окунь, ни мясистый голавль. У них всех рыбок резкий и в сторону, а это тягучий, упрямый, вглубь, ко дну. Щука!.. Вот повела, делает тугой полукруг, крутая темная спина чиркнула по поверхности — скрылась...

Господи! Услышь молитву от неверящего в тебя! Господи! Не дай сорваться! Только бы не попался ржавый крючок, только бы он не сломался! Только бы выдержал поводок, не перетерся бы об острые мельчайшие, как наждак, зубы! Какая здоровая! Тут не подсадишь: голова окажется в сачке, а хвост наружу. Не перекинешь ее и за борт — сорвется!

Бечеву в зубы — и за весла. Измотать ее, выбить из сил, пусть воюет, пусть гуляет туда и обратно. Только б выдержал поводок, только б крючок сидел прочно в пасти! Челюсти судорогой свело на бечеве, во рту вкус речного песка. Только б не сорвалась! Весла осторожно бьют по воде; между рывками устающей щуки слышно, как где-то далеко тащится по дну камень.

К черту лодку! Пусть ее несет течением. Берег рядом, вода по колено, засученная штанина сползла, мокнет в реке — плевать! Ближе, ближе к берегу, мельче, мельче,

тесней щуке, меньше приволья, воздушный потолок опускается ей на спину, песчаное дно давит ей в брюхо. Сейчас она взбунтуется. Последний бунт в ее жизни... Только б не сорвалась!..

Брызги летят в стороны, среди их сверкания мелькнуло желтоватое брюхо. Моя рука метнулась вдоль поводка, пальцы без моего разума, без моего приказа звериным инстинктом нащли жабры и вцепились мертвой хваткой. Голова щуки притиснута к песчаному дну тяжестью всего моего тела.

— Есть!

Я выпрастываю из пасти крючок и бросаю щуку на берег, подальше от воды. Она неуклюже делает в траве прыжок-другой и засыпает. А у меня от возбуждения подергиваются коленные чашечки.

Мои руки в липкой слизи, которая пахнет не просто рыбьим запахом, а особым — щучьим. Я долго мою руки в реке, я дразню сам себя, оттягиваю момент, чтобы полюбоваться на свою жертву.

Вот она распласталась на траве — кожа пегая, с морозным, сизым отливом, зловещий разрез хищной пасти, жабры хватают воздух. Ничего себе, кило на два, может, чуть поменьше. Не дубасница, конечно. Да что там дубасница? Сказка, легенда, пустой звук — нет ее на свете. А если б и была, то у такой древней старухи мясо твердое, как подметка. Моя щука — самая лучшая из всех щук, которые гуляют в реке.

На обратном пути, когда я, мокрый, продрогший, подпрыгивающей походкой иду домой, помахивая повешенной на палец увесистой щукой или держа ведро с трещающими окунями, в такие минуты, когда крыши домов застенчиво, как щеки девушки, начинают пунцоветь от невидимого пока еще солнца, когда надо огибать каждую ветку, переброшенную через изгородь, иначе она обдаст тебя жгучей росой, в такие минуты мне вдруг становится тоскливо до крика.

Щуки, пескари, туманы, ползущие по воде, розовые разливы неба перед восходом солнца — все это позолота, чтоб скрыть разъедающую ржавчину. Я боюсь завтрашнего дня. Я не имею права мечтать, я могу только оглядываться в свое небогатое прошлое. Мне всего тридцать три года, а жизнь, кажется, остановилась для меня.

В последние дни у меня были особенно удачные уловы. Ни одно утро не проходило без того, чтобы, взявшись за бечеву перемета, я не ощутил волнующих толчков. Щуки, матерые золотистые окуни, желтые, словно тронутые от старости ржавчиной голавли, даже вялые в эту жаркую пору налимы садились на крючки.

Как обычно, в лениво сгущающихся сумерках я наживлял перемет. Длинный багор, торчавший из лодки, мешал мне, и я его выбросил на берег.

Закат за спиной, река под лодкой, кажущаяся смолисто-вязкой, наживленные пескари, с чуть слышным бульканьем падающие за борт. Дома мне тяжело и неуютно, здесь спокойно.

Но пескари наживлены, я кладу на корму камень, опутанный веревкой, берусь за весла. Их осторожные всплески не нарушают тишины. Взмах, другой, третий — я на середине реки, концом весла толкаю камень. Все! Домой!

Скрылись из глаз крыши деревни Кудиновки и рваная верхушка тополя. Скоро на правом берегу покажется глухая, без едипого окна, бревенчатая стена зерносклада — это уже начало Загарья. И тут я вспомнил, что забыл на берегу багор. Вдруг да кто-нибудь случайно наткнется, заберет себе? Багор не мой, он взят у Акиндина Акиндиновича. Лучше вернуться за ним, чем потом оправдываться и извиняться.

Грести вверх по течению тяжело. Я причалил к берегу, вытащил лодку, босиком по крепко утопанной тропинке, хранящей еще в себе дневное тепло, быстрым шагом направился обратно.

Не доходя до заводи, у которой был заброшен мой перемет, я услышал тихие голоса. Это место всегда безлюдно, все прибрежные тропинки, срезая поросший ивняком мысок, обходят его стороной. Какая нужда загнала сюда людей? Уж не позавидовал ли кто моей рыбацкой удачливости? Решили снять случайный улов, а быть может, вместе с ним и сам перемет?

Голоса ребячьи, приглушенные, вороватые. Прячась за кусты, стараясь не шуметь, ступая босыми ногами в холодную траву, я прошел ближе к берегу, осторожно выглянул.

У самой воды, зябко передрагивая плечами, стоял голый паренек с ведром в руках. Второй, по горло в заводи,

где, цепляясь за хвостец, ползли клочья серого тумана, шел толчками, должно быть, бороздил ногой по дну, стараясь зацепить бечеву моего перемета.

Я узнал их: тот, что на берегу, — Сережа Скворцов, в воде — Федя Кочкин.

Приятная картина: ученики решили проверить перемет своего учителя.

— Глу-глубоко здесь, — с выдохом произнес Кочкин.

— Вчера он левее ставил. Там мельче.

От бредущего по заводи Кочкина доносится легкий всплеск. Сережа поеживается, передергивает плечами, перехватывает то одной, то другой рукой ведро.

— Есть! — доносится от Федора. — Нашел! — Его голова на секунду скрывается под водой. — Давай сюда с ведром...

— Глубоко же... Поди, скроет.

— Давай, давай, не потонешь...

Придерживая обеими руками ведро, Сережа боязливо стал сползать в темную, дымящуюся холодным туманом воду.

— Ух-х!..

— Смотри не выпусти...

— Глуб-бина!

— В воду ведро-то попусти, легче нести.

В ведре у Сережи что-то плеснуло.

Воруют улов? А зачем ведро? И ведро тяжелое, не пустое...

Две головы и придерживаемое над поверхностью воды ведро сошлись на середине заводи. Голоса ребят от холода и возбуждения неровные, ломкие.

— Говорил тебе, возьмем сегодня лодку.

— Лодку, лодку, а он нас с этой лодкой заметит.

— В кустах бы спрятали, не заметил.

— Ладно, давай ведро ближе.

Снова слышится всплеск в ведре.

— Ишь верткий, никак не ухватишь. Не наклоняй, выскочит. Ага!.. Не хочет снова на крюк. Есть!

Что-то с легким плеском упало в воду.

— Давай окуня... Колется, черт! Бечевку-то держи! Не могу же я насаживать и бечевку держать... И этот сидит...

— Мелкий окунек-то.

— Какой есть. Язь зато тяжелый. До утра, гляди, что-нибудь само схватит. Здесь место хорошее. Андрей Васильевич не дурее нас... Выливай воду из ведра, пошли...

Пустое ведро, звякнув дужкой, упало в траву. Я подался в глубь кустов. Приплясывая, путаясь в одежде, стуча зубами, выскочившие из воды ребята стали одеваться.

— В воде-то теплее.

— Сейчас бегом побежим — согреемся.

Оделись, подняли ведро и замаялись на берегу.

— Он багор тут бросил, не украли бы...

— Спрячем?

— А он не найдет. Нет уж, пусть лучше так лежит. Бежим!

Они проскочили мимо моего куста. Я не шевелился, пока топот босых ног совсем не стих.

Так вот почему в последнее время мне так везло в улове! Ой, ребята!..

Надо же додуматься: снимают рыбу со своих переметов и насаживают на мой! Со своих, а может, даже с чьих-то чужих...

Против меня написана статья в газете. Против меня выступали в роно. Меня осуждают за то, что сходил с чужой женой. Осуждают и сплетничают. Все это наверняка известно ребятам. И они меня жалеют.

На моем перемете сидят теперь язь и окунь. Кто не бывал счастлив в детстве, когда торжественно приносил домой вытащенную из реки своими руками добычу? Федя Кочкин и Сережа Скворцов украдкой делятся своим маленьким счастьем со мною. Та щука, что попала мне позавчера, не их ли подарок?

Никогда между мной, Сережей и Федей не было особой сердечной близости. Я их учил, они учились — деловые отношения, и только. Чем я заслужил такую благодарность? Меня всегда беспокоило: как-то оценят мою работу другие учителя, что скажут Василий Тихонович, Иван Поликарпович, Степан Артемович? Но что подумают, как оценят работу Федей Кочкины и Сережи Скворцовы, — нет, об этом я много не задумывался.

Неужели я больше ничего не смогу для них сделать? Неужели на этом все кончится? Верно, хорошо же я выгляжу со стороны, если ребятам пришло в голову ублажать меня...

Я взял багор и отправился к лодке. Утром снял свой перемет и решил больше его не ставить.

Вскоре, кстати, зарядил дождь. Меня вовсе перестало тянуть на реку. Я чувствовал, что по утрам Тоня внимательно и испуганно приглядывается, в каком настроении я встал. И это приглядывание еще сильнее раздражало меня. Я перестал с ней разговаривать, на все вопросы бросал только «да» или «нет». Она то старалась быть предупредительной до заискивания, то не сдерживалась и начала упрекать:

— Дикарь дикарем — слова доброго не услышишь.

И этого было достаточно, чтобы я вспылит:

— Не правлюсь?

— Кому ты такой нравишься?

Она была права, я не нравился даже самому себе. Именно потому, что она права, меня начинало бесить.

— Не воображай, что ты мне очень нравишься.

— Плоха тебе? Знаю. Как для тебя стать хорошей? Всяко, кажись, подхожу, только что в ногах не валяюсь. Шел бы ты лучше к той.

— Не ради тебя живу. Ради Наташки.

— Наташки?! Да ты и ей жизнь портишь. То обнимать бросишься, то не глядишь. Бояться она стала родного отца...

— Молчи!

— Намолчалась. Теперь рот не зажмешь! Иди к своей... — бросалось циничное слово, и я зверел.

— За-мол-чи!..

Но в скандалах Тоня была сильнее меня. Умолкать приходилось мне. Я с грохотом, сотрясая весь дом, хлопал дверью и уходил.

А на улице шел дождь, пузырились лужи, бочки под стоками, предусмотрительно поставленные хозяйственным Акиндином Акиндиновичем, были переполнены. Я хлопал дверью, а идти-то мне было некуда. Никому я не нужен, никто меня не ждет, ни под чьей крышей не найду себе крова.

Я уходил в сторону от села, опять на берег реки. Бродил под дождем в промокших насквозь ботинках, глядел на тощие ветлы, на ослизлые глинистые берега, на неуютную свинцовую воду и думал о Феде Кочкине и Сереже Скворцове, моих учениках. Я мог бы сделать для них что-то большое, хорошее. Мог, если б мне помогали, поддерживали, понимали меня. Но теперь я бездомный, неприкаянный, не имеющий права даже жалеть самого себя. Я ви-

новат и в безобразных скандалах с Тоней, и в том, что остался без товарищей, в том, что кругом одинок, что беспомощен. Виноват я сам, виноват слепой случай. Как все получилось нелепо!..

Я беспощаден к Тоне, она беспощадна ко мне, а вместе мы не щадим Наташки. Однажды после очередного скандала я ушел не на реку, а в чайную. Я уселся в той отдельной комнатке, где мы с Ващенковым в последний раз вели разговор. Мне принесли водки, и я под стук дождя, под шумные разговоры обедающих шоферов за стеной впервые напился в угрюмом одиночестве.

Япил и думал, что с того дня, как я разговаривал здесь с Ващенковым, прошло не так уж много времени — чуть больше месяца. За этот месяц товарищи от меня отвернулись, любимую женщину я предал, жена ненавидит, дочь боится, а сам себе я противен.

Пьяного меня встретил на улице Акиндин Акиндинович и привел домой под руку.

Я проснулся вечером — чутунная голова, вялая расслабленность, мешки под глазами.

Дождь, шедший почти целую неделю, кончился. Я оделся и вышел. Тоня не задержала меня, не повернула даже головы в мою сторону.

Влажный воздух был на удивление теплым, что ни шаг, то с головой ныряешь в какую-то ласковую волну. Изредка не налетал, а как-то подплывал слабый ветерок, шевелил тяжело повисшую листву на деревьях, перебирал ее бережно и нежно, как задумавшаяся мать перебирает волосы своего ребенка. В мокрой траве звенели кузнечики. Их было так много, они так азартно играли, что, казалось, звенело все: и бревенчатые стены домов, и листва, и само пространство между землей и далекими редкими звездами. Прокричат бранчливо на реке лягушки, разом смолкнут, и снова лишь яростный звон, лишь влажный бережный шелест листвы. Жить бы и жить, радоваться такому вечеру. Но нет, не для меня простые человеческие радости...

Измученный, издерганный, полубольной, ощущая во всем теле какую-то грязь после похмелья, окруженный сейчас теплым, густым от влаги воздухом, тишиной, которой несколько не мешает яростный звон кузнечиков, я прислонился плечом к чьей-то изгороди и заплакал...

Да, я плакал по-настоящему, слезами. Они обжигали мне лицо, я торопливо смахивал их рукой, чувствуя запущенную щетину на щеках, старался приглушить рыдания, а ветхая изгородь слегка сотрясалась под моим плечом.

Было уже темно, на улице, усеянной тусклыми лужами, пусто: никто не мог видеть моих слез...

Я не плакал с детства. Хотя нет, в последний раз я плакал в армии, в самом начале службы. Из резервов нас перебрасывали на линию фронта, был большой поход, я не умел по-настоящему наматывать портянок — стер до крови ноги. Надо было идти вперед, надо мной стоял командир отделения, младший сержант Лобода, говорил с издевкой и с нескрываемым удивлением:

— Дивитесь, люди добрые, сонли распустил. Ось, дывитесь, мамку вспомнил...

И я не мог удержать слез. Мимо меня шли солдаты, как я, измученные походом, и угрюмо, по-педоброму, смеялись. Им, идущим навстречу смерти, моя маленькая беда в большой общей беде действительно казалась смешной.

Больше я никогда не стирал ног и больше никогда не плакал. Не плакал я во время ранения, когда меня вытаскивали на плащ-палатке, ни в госпитале, когда мне под местным наркозом стягивали перебитые осколком нервы, ни потом, в мирное время, а ведь тоже случались тяжелые минуты...

Сейчас, как ни странно, от слез, оттого, что их никто не видит, я испытывал облегчение, почти наслаждение.

Есть, видать, своя горькая радость в том, чтобы пережить один на один свой позор, трезво его понять, почувствовать себя пусть не очень сильным, не очень стойким, но все-таки человеком.

Мои слезы быстро высохли. Вечер кругом был по-прежнему до духоты, до приторности тепел и влажен. А кузнечики все так же продолжали звенеть. А слабый, едва уловимый ветерок перебирал листья молодой липки над моей головой. И все это вместе настойчиво напоминало, что мир, в котором я живу, прекрасен, что преступно угнетать себя, мучить себя, издеваться над собой и другими, когда жизнь может быть такой хорошей, когда тебя окружает совершенство.

Бежать отсюда! Пойти немедленно к Вале и предложить: едем!

Она должна согласиться, если хочет моего спасения. Я теперь лучше знаю, что следует беречь, чем надо дорожить. Буду оберегать дружбу новых друзей, стану дорожить Валей, ее верой в меня, ее любовью ко мне.

Уехать, и подальше! Я здоров, я сравнительно молод, у меня много-много лет впереди. Нет причин отчаиваться. Нет пока конца, все еще может устроиться.

Сейчас надо идти прямо к Вале. Хотя зачем поддаваться минутному порыву? Не все обдуманно, не все рассчитано, хватит с меня опрометчивых поступков, к ней следует прийти с трезвой головой, с бесповоротно принятым решением. Утро вечера мудренее. Утром и надо действовать.

Поздний час, спит село. То село, в котором прошло несколько значительных лет моей жизни, заполненных не только несчастьями, но и скромными радостями. Я все-таки сроднился с этим селом. Здесь будет жить моя дочь. Буду помнить о пей, жить для нее, буду вспоминать эти травянистые улочки, черемуховые ветви, переброшенные за изгороди. Что-то ждет меня?.. Жаль Загаря, как старого друга, который не всегда-то баловал преданностью и вниманием.

Подойдя к дому, я увидел на нашем крыльчке двоих, услышал приглушенные голоса. По белой кофточке узнал Тоню. Скрип калитки оборвал их разговор. Собеседник Тони что-то торопливо бросил, должно быть, простился, соскочил с крыльца и пошел в глубь двора к половине Акиндина Акиндиновича, осторожно обходя стороной лужи. Я догадался, что это Анатолий Акиндинович. Тоня встречается с ним в мое отсутствие, о чем-то советуется. Впрочем, удивляться нечему, должна же Тоня в ком-то найти сочувствие. Она нашла его в Анатолии Акиндиновиче. Не разделяю ее выбора. Но мы ведь всегда и на все смотрели разными глазами. Ее дело.

Она стояла на ступеньках крыльца. Подойдя вплотную, я почувствовал на ее лице подозрительность — пьян? — и холодную замкнутость, предупреждавшую: не спрашивай ни о чем; то, что я делаю, с кем встречаюсь, тебя не касается.

Мне надо было что-то сказать, и я сказал первое, что взбрело в голову:

— Пора бы спать. Время-то позднее.

И так как в моем голосе не чувствовалось ни упрека, ни холода, Тоня тоже мирно ответила:

— У тебя тут гость был.

— Кто? Не Анатолий ли Акиндинович?

— Нет. — Голос ее сразу стал резким. — Он приходил ко мне. Был Василий Тихонович...

— Василий! — воскликнул я.

Никто в селе, кроме Вали, не знал о нашей размолвке, о том, что я оскорбил своего друга. Тоне казалось, что это самый обычный визит.

— Принес тебе из школы письма какие-то. Ждать не стал, сразу ушел.

«Приходил, принес письма... Какие письма?» Я поспешно вошел в дом.

Письма лежали стопкой на моем столе. На самом верху письмо: знакомый, твердый, расчетливо ровный почерк. Письмо от Павла Столбцова! Что ему от меня нужно? Письма от незнакомых людей, судя по обратным адресам, одни из города, другие из районов, которые я знал только понаслышке. Вот письмо от Лещева. Оно адресовано не Вале, а мне.

Я перебирал разнокалиберные конверты и удивлялся: никогда еще не получал сразу столько писем. Что бы это могло означать?

И вдруг смутная догадка! В первую секунду я не решился ей поверить, настолько она была неожиданна. Я нужен... Нужен Павлу Столбцову, нужен Лещеву, нужен какому-то Игумнову из Великореченского района. Кто такой этот Игумнов? Никогда не слыхал о нем, а он вот знает о моем существовании.

Пока я запутывался в своих личных делах, пока мучительно решал вопрос, жить с Валею или не жить, пока я, скрываясь от всего живого, ловил шук на перемет, отчаивался, убивался, отравлял себе и другим существование, жизнь шла вперед. В разных местах разные по характеру учителя пытались решать наболевшие вопросы. Обсуждение моего доклада, закончившееся так печально для меня, статья Павла Столбцова в газете, двулика, неопределенная статья, — все это сделало свое дело, известило: есть один ищущий, он пытается шагнуть вперед, он против зстоя. Тот, кто не равнодушен, откликнулся.

Валя как-то сказала: «В твоей жизни случилась пустыня». В моей жизни — да, но в общей жизни всех людей пустынь быть не может. Жизнь шла своим чередом, и я забыл об этом.

С какого же письма начать? С письма Павла Столбцова? Уж этот может служить верным барометром, от него-то я сумею узнать, как обстоят мои дела. Нечего искушать себя — я разорвал конверт.

«Дорогой Андрей!..» Ага, знаменательно, я для него не только Андрей, но еще и «дорогой».

«...Я знаю, что ты обо мне думаешь дурно, знаю, что ты перестал считать меня своим товарищем...» Еще бы не знать!..

«...Ты прямолинеен, твоему характеру чужда всякая гибкость, ты отвергаешь всякое понятие о тактике. И в этом твое достоинство и твой недостаток. Я же постоянно обязан помнить о том, что не все крепости берутся лобовой атакой, я вынужден был тогда поддержать стариков, чтоб иметь какие-то надежды на будущее, чтоб потом была возможность подать в твою же защиту голос. Ты, наверное, заметил, что в газетной статье я уже попытался смягчить удар. Конечно, попытка была робкая, и она не могла, разумеется, полностью удовлетворить тебя. Если б ты тогда послушался моих советов, то теперь бы твое имя уже благожелательно склонялось во всех школах области. Но ты отверг советы, проиграл во времени, не сомневаюсь, что пережил много неприятных минут.

Все это предисловие. Теперь — к сути. В воздухе давно висит проблема совмещения школьного обучения с производительным трудом. На днях, не где-нибудь, а в обкоме партии состоялось совещание по этому вопросу. Присутствовали весьма авторитетные товарищи. Конечно, были вызваны два наших корифея — Никшаев и Краковский. К ним обратились с прямым вопросом: как быть? Но ты уже догадываешься, что, кроме пустых фраз, от них ничего не услышали. Тогда я взял на себя смелость выступить. Я говорил, что трудовое воспитание нельзя рассматривать в отрыве от самого процесса обучения, что этот процесс требует некоторого усовершенствования. И тут-то я напомнил о тебе...»

Письмо кончалось опять соболезнованиями, пожеланиями успехов «как на педагогическом поприще, так и в личных делах».

Лещев сообщал, что «ветер меняется, пахнет свежестью», в их школе ставят ребром вопрос о тесной связи с колхозом, расспрашивал, что у меня нового, как думаем мы встречать учебный год. Просил сообщить Вале, что очень беспокоится, так как не получил от нее ответа на два своих письма.

Было письмо от директора школы, одного из тех, кто подходил ко мне после обсуждения доклада. Письмо сугубо деловое, состоящее из вопросов и сомнений.

Авторов этих писем интересуют мои личные находки, работы Ткаченко, но это частности — фон, задний план писем; красной нитью в них проходит одна мысль, одно

желание — не можем мириться с застоём, требуем права на поиски.

Только письмо Игумнова из Великореченского района оказалось ругательным. Он пытался мне доказать то, что в свое время доказывал Степан Артемович: учеба не игра, а сознательный и нелегкий труд, никакими усовершенствованиями и нововведениями нельзя увеличить природную способность учеников к освоению знаний. Мир тебе, незнакомый мне товарищ Игумнов! Твои речи не новы, они не могут испортить мне торжества.

Из открытого окна несло в комнату запахом сырой земли, трав, свежего сена с дальних покосов. Далеко у реки снова раскричались лягушки, среди их переливчатого, разноголосого, влажного клокотания вырывался утробный крик какой-то могучей жабы — такой голос может быть только у царственной особы.

Я сидел за столом перед разложенными письмами, брал то одно, то другое, снова и снова вчитывался...

Письмо Лещева, письмо почти незнакомого мне директора, письма каких-то учителей. Они сомневаются в моей работе, они не согласны со мной, но они интересуются. Я для них не безразличен. Первые письма, но наверняка не последние. Много таких, кто не хочет топтаться на месте, пытается идти вперед. Каждый по-своему, не моим путем, нет.

Новые пути только нащупываются. И было бы страшно в этот момент выбрать вождя, беспрекословно его слушаться, безоговорочно принимать его взгляды. Надо спорить, сомневаться, сомневаться и еще раз сомневаться, чтоб избежать ошибок. Споры не вражда, а содружество, в конце концов только они приведут к открытию истины.

Вот они, письма людей, для которых мое дело не безразлично. Я не один, я в их рядах. Но для того чтобы совместно с ними спорить и искать, нельзя опускать руки. Это преступно перед ними, перед жизнью, за которую я ответствен вместе со всеми.

Ночь. Василий Тихонович, который принес мне эти письма, спит. Он оказался решительнее меня, первый сделал шаг навстречу. Он пришел, он надеялся застать меня дома, — значит, рассчитывал и поговорить. К черту сомнения! Никуда не поеду, буду жить в Загарье, хочу продолжать нашу работу!

Не застал, жаль! Сидел бы он сейчас здесь чуть сутулив гибкую спину, выдвинув вперед острые плечи, сжав между коленями руки, курил, щурил свои жесткие ресни-

цы на дым, слушал бы и говорил... Нет, не могу ждать. Не могу спать. Разбужу его. Он поймет мое нетерпение. Должен понять! Иначе зачем же он приходил?

Я сгреб письма, сунул в карман, потушил свет и осторожно прошел через комнату, где спали Тоня и Наташка.

У Василия Тихоновича во дворе была дощатая пристройка — летник. В ней в свободное время он собирал радиоприемники и какие-то замысловатые приборы для школьного кабинета физики. Часто он и спал здесь.

Открыв калитку, я вошел во двор, стукнул раз-другой в дощатую стену. За квадратным окном, затянутым от комаров марлей, было тихо. Я постучал решительнее.

— Кто там? — Его голос.

— Василий, прости... Это я.

— Черт возьми! — Снова скрип и тишина. Должно быть, Василий повернулся на другой бок на своем топчаче...

— Василий...

Никакого ответа. Я потоптался, вздохнул и пошел прочь.

Уже за оградой, оглянувшись, я увидел, как вспыхнул свет в окне, затянутом марлей.

— Василий!

— Да заходи же! Дверь не заперта.

Он сидел на топчане, сердито жмурился от яркого света. На смуглой щеке красный рубец от подушки, в майке и трусах, обнажены костистые плечи, тонкие мускулистые руки и грудь, густо поросшие курчавым волосом.

— Ну... Пришел? — Он почесывает волосатую грудь, по-прежнему сердито жмурится. — Выбрал же время... — Сладко зевнул и сразу же стал добрее: — Присаживайся.

— Василий... С чего начать? С извинений?

— Ладно. Не гляди покаянно. Я и сам виноват. Должен сообщить: я у нее был, познакомился...

— Был? У Вали?..

— Да. Она ко мне пришла, после того как ты... Ну, а потом я и сам стал заглядывать к ней. Тебе косточки перемывали. Не икалось?

— Нет, и в голову не приходило.

— Все, что я о ней говорил прежде, беру обратно. Сидит во мне эдакий самодовольный невежа, мнящий себя человеческим классификатором, который, не подумав, готов ставить печать на каждого встречного. Она человек, и не из породы несчастеньких. Нет! Ей сейчас нелегко, а на все несчастья смотрит по-своему: «Какая же жизнь без

испытаний? Хуже, когда их нет». И твой поступок она оценивает как бы со стороны: «Ушел к семье,— значит, не все перегорело, значит, что-то держит тебя в семье, за это нельзя осуждать. Пусть поживет, пусть перегорит». И верит, что непременно должно у тебя перегореть, что ты вернешься, только надо выдержку иметь, только нужно собрать силы и ждать. Это, брат, мужество, и не всякому-то оно доступно.

Я прятал глаза. Я давно мечтал, чтоб эти два по-своему близких мне человека — Валя и Василий Горбылев — поняли друг друга. Вот и поняли, но стыд сейчас портит мне радость.

— Услыхали мы,— продолжал Василий,— что тебя пьяным на улице видели. Тут и она испугалась. Это уж выходило из ее расчетов, так можно не просто перегореть, а сгореть начисто. Она меня самого поторопила, чтобы навестил тебя... Вот и вся история, как на исповеди. Теперь ты здесь, вижу, опомнился.

— Да, конечно.

— Ну и добро. Письма-то прочитал? У меня все руки чесались их распечатать. Что поделаешь, если с детства внушили, что чужие письма читать непорядочно!..

Мы просидели до рассвета, читали письма, обсуждали, мимоходом Василий сообщал мне новости:

— Коковина глядит, как бы ей снова повернуть на все сто восемьдесят. А для крутых поворотов, ты знаешь, ей нужны жертвы. Как ты думаешь, кто намечается в это жертвоприношение?

Я подумал и не совсем уверенно ответил:

— Уж не Тамара ли Константиновна?

— Она. Коковина нападала на нас, а нам теперь из облоно шлют запросы. Опять, выходит, просчет. Надо как-то оправдываться, надо на кого-то сваливать свои грехи. Тамара Константиновна тоже нападала на нас и довольно активно, она и будет жертвой. Свалить, пока не поздно, на нее, самой остаться чистой.

— Станный, однако, метод быть правозерной.

— Не столько странный, сколько подлый.

Я ушел от Василия примерно в то время, когда обычно возвращался с рыбной ловли. Солнце еще не взошло, но окна домов уже горячо полыхали от зари. На высоком крыльце магазина сидела в обнимку с ружьем закутанная в платок ночная сторожиха и сладко спала.

Я шел по самой середине пустой, кажущейся в этот час такой просторной улице. Мои ботинки глуховато сту-

чали по булыжнику. Я шел и оглядывался на пылающие окна, на тронутые уже первым лучом солнца скворечники на высоких шестах, вслушивался в птичью возню, шел, и звук моих шагов отдавался под крышами домов. Каждая мелочь заставляла меня пристально вглядываться: окна домов, зажженные заревом, сияющий скворечник в бледном небе, воробьи, шарахнувшиеся из-под ног, — все удивительно, все необычно. Так, наверно, радуются тяжелобольные, к которым снова начинает возвращаться здоровье, когда бессонные ночи, мучительные боли, кошмары во время сна позади, а впереди жизнь, впереди бытие.

Дома — мягкий полумрак. В своей кровати разметалась Наташка, из-под острого локотка видна часть разрумянившейся щеки и растрепанные волосы, вдавленные в подушку. Я осторожно поцеловал ее.

Написать, что ли, записку Тоне? Зачем? Я еще приду, и мы поговорим. Надеюсь, что на этот раз обойдется без скандала.

.....

Ясной зимней ночью я и Василий Тихонович вышли из школы. В этом году зима выдалась на редкость снежной: дома по самые окна вдавлены в сугробы тяжелыми, полуметровой толщины, заснеженными крышами, колья оград торчат возле самых ног, деревья сгибаются от тяжести снега. Даже Млечный Путь на черном небе казался сейчас снежным следом, наметенным метелью.

Мы шли, похрустывая валенками, два усталых и озабоченных человека. Только что закончился наш день в школе. Теперь он всегда кончается для нас очень поздно.

Василий Тихонович — директор школы, я — завуч. В нашем назначении на эти должности проявила усердие и настойчивость Коковина. Она таки подставила ножку Тамаре Константиновне. Мне и Василию Тихоновичу пришлось даже защищать ее. Тамара Константиновна работает теперь рядовым учителем, преподает историю, по-прежнему относится к нам с недоверием.

А Коковина на всех совещаниях поет дифирамбы, где только можно возвещает:

— Товарищи! Загарьевская десятилетка творит свою трудовую поэму!

Но наша «трудовая поэма» начинается пока что с про-

зы: и телятник, и свинарник, и конюшня, где стоят всего шесть кляч, перешли в наши руки в самом незавидном состоянии — потолки не утеплены, стены прогнили, всюду страшная грязь. Устраивались общешкольные субботники, выгребали навоз. На этих субботниках работал наш трактор, тот самый воскресший старец, который участвовал когда-то в Первомайских торжествах, а потом долго стоял под школьной стеной. За его рычагами сидели Федя Кочкин и Сережа Скворцов. Мы устраиваем теперь советы командиров, где сообща подсчитываем, как получить доход, как утеплить свинарник и как его расширить к весне. Доходы! Их пока нет, не сводим концы с концами. Все надежды на будущую осень, на тот урожай, который еще не посеян. Но надежды-то есть, а это главное.

Столбцов написал мне еще два письма, и ни на одно из них я не ответил. Он готовится к защите диссертации, часто выступает, громит рутинеров Никшаева и Краковского.

Я и Василий Тихонович идем по захлебнувшемуся в сугробах селу под чистым небом, где разбросаны по-зимнему тусклые звезды. Мы молчим, потому что за день успели наговориться обо всем. Возле моста мы расстанемся. Василий Тихонович свернет направо по берегу к себе. Я же пойду через мост во Дворцы.

До сих пор мы с Валею живем у Марьи Никифоровны. В моем же старом доме появился новый хозяин. Тоня еще осенью объявила своим мужем Анатолия Акиндиновича. Я бываю у них часто, но стараюсь выбирать такое время, когда новоиспеченного отчима моей дочери нет дома. Не могу выносить этого человека. Встречаясь, каждый раз мы ссоримся. А Тоня его уважает: он и умный, он и внимательный, пользуется авторитетом. Упаси боже, не обижает Наташку.

Наташка на следующую осень пойдет в школу. Я ни в чем не раскаиваюсь, я не мог поступить иначе, но тем не менее считаю себя перед ней виноватым. Я прихожу к ней раз в неделю, иногда два раза, а Анатолий Акиндинович живет с ней бок о бок, будет жить до тех пор, пока Наташка не станет совершеннолетней. Этот влюбленный в себя наставник не обойдет ее своим воспитанием: будь вежлива со старшими, уважай мнение окружающих... Каждое слово Анатолия Акиндиновича правильно, я бы и сам говорил дочери те же слова, и тем не менее тревожит меня судьба Наташки. Одна надежда, что дети часто вырастают вопреки родительским наставлениям. Быть может, школа

и жизнь внесут поправки в семейное Наташкино воспитание. Для того я и живу на свете, для того я и работаю днями и ночами без отдыха.

Мы остановились у моста. Василий Тихонович протянул руку:

— До завтра.

Но мы не успели расстаться. На зимнем небе, на том извечном небе с порошей Млечного Пути произошло маленькое событие. Казалось, одна из звезд, испокон веков намертво прикованных к черному своду, одна из тех, что, казалось, наблюдали рождение Земли, появление на ней первых морей, первой твари, выползшей на безжизненные берега, одна из этих звезд вдруг сорвалась с места и с напористым упрямством медлительно поползла наперекор всему поперек неба. И это была крупная звезда, горевшая сочным светом.

— Он... — произнес Василий Тихонович.

И я понял, что это за звезда. Весь мир кричал о ней. Газеты, радио на разных языках восхищались и удивлялись ее появлению. В разных концах планеты — и с материков и с бортов кораблей — уже видели ее. И вот она появилась в тихом загарьевском небе, в глухом звездном затоне, что висит над заснеженными крышами.

Пересекая привычные созвездия, плыл спутник.

А мы, два человека, обремененные будничными житейскими заботами, мы, привыкшие больше смотреть на то, что делается на земле, часто забывавшие о небе, стояли теперь, задрав головы, стояли и не шевелились.

Вечер был поздний, улицы села пусты, все жители уже забрались под крыши, укладывались спать возле теплых печей. В стороне лениво лаяла дворняжка. Все выглядело, как всегда.

А он напористо продолжал плыть наискось через небо.

И изрыгающие огонь ракеты, вонзающиеся сквозь пустоту в вечную почву... И астронавты, впервые ступающие ногой на почву Марса, той планеты, которая дала пищу для самых невероятных легенд, когда-либо придуманных человечеством... И купающаяся в вечерней и утренней заре, красивая и непроницаемо таинственная Венера... Нет невозможного в завтрашнем дне человечества! Рушатся легенды, выспренности фантазии кажутся смешными, сказки тускнеют от будничной действительности. Нет невозможного в завтрашнем дне.

По загарьевскому небу, не торопясь, с должным достоинством плывет среди звезд новое небесное тело, сгусток

материи, сотворенный людскими руками, светлый узелок, связывающий эту минуту с будущим.

И мои мысли, мысли самого земного, самого обычного из людей, не умеющего проникать ни в величественные тайны космоса, ни в секреты грозного атомного ядра, мои мысли начинают бунтовать, мечты становятся пугающе дерзкими.

Класс, парты, доска у стены, кусок мела, чертящий коренные согласные или выделяющий запятыми деепричастные обороты, — вот мой день, который я только что прожил. Я хочу сейчас, чтоб лица детей при объяснении деепричастных оборотов или теорем Пифагора горели возбуждением, в детских глазах прорывалась страсть: понять! проникнуть! запомнить!.. Я хочу... Но меня теперь распирает дерзость, я хочу многого. Почему бы мне не мечтать с размахом? Хочу, чтоб класс, состоящий из ребятшек села Загарье, вылетел на месяц или на целую четверть в Москву. Да, в Москву, не на простую экскурсию, а учиться. А на его место из какой-то московской городской школы сюда прибыл бы такой же класс в нашу благоустроенную, не уступающую столичной школе-интернат. Пусть загарьевские ребятки поживут в столице, окунутся в жизнь завода, побывают в музеях, а москвичи поработают на тракторах, узнают, что такое колхозная ферма. Учеба пойдет своим ходом как в Загарье, так и в Москве, и там и тут гости будут получать свои знания. Но мир для них станет шире и глубже, проще потом найти свое место в сложной и многообразной жизни. А жизнь к тому времени не только обогатится, но наверняка усложнится, станет запутанней.

«Ой ли?.. — возразят мне. — Нелепость... Бред... Фантастика...»

Да, фантастика. Но я хочу фантазировать и дальше. Мечтаю, чтоб из села Загарье ученики вылетели на учебную четверть в Лондон или Милан, в поселение скотоводов Новой Зеландии или в какой-нибудь городок штата Оклахома. А здесь бы мы принимали оклахомских ребят: учитесь русскому языку в Загарье, учитесь всему, чем мы богаты, а наши дети станут учиться вместе с вашими вашему умению и вашей сноровке. Почему бы и нет? При дружбе и согласии от таких визитов худа бы не было.

Несусветный бред! Фантастика!

Но давно ли здравомыслящим людям казалось, что мечты о путешествии на Марс и Луну — несусветный бред. Почему же мне держать свои мечты на узде? Мне, живу-

щему в дерзновенный век, когда нет невозможного в завтрашнем дне!

Конечно, можно думать иначе. Можно с холодной трезвостью прикидывать, что ракеты, изрыгающие огонь, понесут не отважных астронавтов в глубь космоса, а зловещий груз водородных бомб с континента на континент. Спутники же станут не научными станциями, а корректировщиками, направляющими смертоносные снаряды. Можно мечтать не о том, чтоб наши дети вместе учились, вместе строили, вместе радовались новым открытиям, а о том, чтоб сбрасывали друг на друга бомбы, жгли школы, вешали учителей. Но разве это мечты? Нельзя мечтать о могиле.

Я мечтаю о жизни... Люди, чей ум и чьи руки создали спутник, бросили его к звездам, вряд ли доживут до того дня, когда первый звездолет, оставив за бортом последнюю планету солнечной системы, понесется на неверный свет альфы Центавра. Они мечтают об этом, но не надеются стать живыми свидетелями осуществления своей мечты. И я не все свои мечты выполню своими руками. Их подхватят те, кто станет жить после меня. Исчезнет мое тело, забудется мое имя, но мои мечты, мои желанья станут жить, изменяясь и совершенствуясь. В этом моя бессмертность, в этом смысл моей нынешней жизни, с ее скромными победами и неудачами, с радостями и горестями, неизбежными заблуждениями, — смысл жизни обычного сельского учителя.

Ушел спутник, утонул в черном небе. И ночь над селом Загарье приобрела свой первобытный облик: мерцают привычные звезды, заиндевевшей полосой растянулся Млечный Путь, над сугробами приподымаются заснеженные крыши. Все по-старому, казалось бы, ничто не может изменить застывшую жизнь.

— До завтра, — протянул мне руку Василий Тихонович.

— До завтра, — ответил я.

Завтра — новый день. Завтра я понесу дальше свой счастливый крест к неизведанному, к непрожитому, в бесконечность.

ПРИМЕЧАНИЯ

Во второй том Собрания сочинений В. Ф. Тендрякова вошли два романа — «Тугой узел» и «За бегущим днем».

Во время одной из встреч с читателями, отвечая на вопросы, Тендряков заметил: «Не могу добраться до войны. Война — прошлое, а хватают и тянут за собой проблемы сегодняшние». (Стенограмма встречи со студентами Пединститута им. В. И. Ленина, 1982, архив писателя.)

Вернувшись в конце 1943 года в родное село Подосиновец Кировской области после тяжелого ранения, Тендряков с головой погрузился в дела и заботы районной глубинки: сначала работал физруком в школе, из которой три года назад ушел на фронт, потом в райкоме комсомола. Как секретарь райкома он «дни и ночи колесил по деревням, по полям, выбивая для фронта хлеб, теплую одежду, фураж». Район открывался ему сложным разнообразием характеров, острыми социальными столкновениями.

«Хоть мне и приходилось работать журналистом, стать им по-настоящему я так и не сумел. Вероятно, тут сказалась особенность характера, я так и не научился «хватать материал», пытаться, что называется, «подножным кормом». Мне нужно «переварить» материал, пропустить его через себя, а это требует больших усилий, в первую очередь — времени... Как часто мы слышим: писатель должен знать жизнь. Жизнь знают все, ибо каждый в ней так или иначе варится. Далеко не все умеют думать над жизнью. А это главное для писателя». (Интервью «Главное для писателя — думать над жизнью». — «Советская литература», на нем. яз., 1983, № 11.)

Первое десятилетие литературной деятельности писателя характеризуется интенсивной творческой активностью. За этот период им было создано три романа, семь повестей, целый ряд рассказов, очерков, статей, теоретических разработок.

В письме к другу, иркутскому писателю Д. Сергееву, Тендря-

ков признавался: «Как писателю, мне повезло, я попал в счастливое десятилетие. Сама жизнь дала возможность встать на ноги, окрепнуть, заговорить о серьезном. Если бы не XX съезд партии, навряд ли нашему поколению удалось пробиться сквозь плотную гладкопись лакировочной «литературы» и сделать то, что нам удалось сделать». (1976, архив писателя.)

Тексты произведений, вошедших во 2 том, печатаются по изданию: Тендряков В. Собр. соч. в 4-х томах, т. II. М., «Художественная литература», 1979.

«Тугой узел». — Впервые в «Новом мире», 1956, № 2, 3 под названием «Саша отправляется в путь». Для создания произведения использован опыт работы секретарем Подосиновского райкома комсомола, многочисленные поездки по районам Кировской и Вологодской областей, встречи с председателями колхозов, работниками районного аппарата, с сельскими тружениками.

«Повесть «Тугой узел» основана на жизненных конфликтах... Я старался показать борьбу нового со старым в человеческом, общественном плане», — писал Тендряков в статье «Не только о коровах». («Лит. газета», 1958, 20 марта.)

В роман писатель включает «хозяйственную социологию», пытается разобраться во взаимоотношениях колхозов и райкомов, МТС и колхозов, в сути поставок. Главное — исследовать сложное многообразие конфликтов в период коренной перестройки методов хозяйствования и стиля руководства. Этот социологический поиск не ограничивался рамками прозы, а имел продолжение в дальнейших теоретических исследованиях в области «практической социологии». Истоки ее мы видим в романе, и, по словам Тендрякова, она «становится главным делом жизни» на многие годы. («Новый час древнего Самарканда», «Известия», 1973.)

В процессе работы над романом автор пришел к выводу: «Название не соответствует повести. Дело не только в показе Сашки-коммуниста, дело в показе линии жизни. Название буду менять». (Материалы обсуждения на секции прозы Московской писательской организации, «Лит. газета», 1956, 26 июня.) В «Роман-газете» (1956, № 9) произведение выходит уже под названием «Тугой узел».

Изменил автор и финал. Первоначально роман кончался сценой собрания, где молодой герой готовился к первой своей речи против Мансурова. В окончательном варианте автор добавил три главы (часть III, гл. 18, 19, 20), существенно усилив основные акценты романа. Тендряков считал, что финал в журнальном варианте был облегченным, не вскрывал корней такого социального явления, как Мансуров и «мансуровщина». И все-таки автор

не был до конца удовлетворен романом. Много лет спустя в разговоре с критиком Ю. Томашевским он так отозвался о романе: «А знаешь, почему в «Тугом узле» как раз не получилось тугого узла? Потому что вместо романа надо было написать статью». (Томашевский Ю. «Вчера и сегодня». М., «Сов. писатель», 1986.)

В обсуждении романа на секции прозы Московской писательской организации («Лит. газета», 1956, 26 июня) приняли участие известные прозаики и критики С. С. Смирнов, П. Вершигора, А. Бек, А. Турков, А. Дементьев и др. Основной спор возник между Смирновым и Дементьевым. Смирнова смущала непривычная острота конфликта, а «пафос разоблачения» казался чрезмерным. Дементьев, возражая Смирнову, говорил: «Тендряков создает сцены огромной утверждающей силы и при этом без всяких ходуль... Трудно сказать, с чем поедет молодежь на целину — с крепкими и сильными героями Джека Лондона или с героями Тендрякова. Мне думается, что скромный, менее декоративный, герой ближе современной советской литературе». (Там же.) Критик Е. Старикова в статье «Первые уроки жизни» писала: «Мне пришлось дочитывать повесть Тендрякова вскоре после того, как закончился XX съезд партии, в те дни, когда были изданы постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об Уставе сельскохозяйственной артели» и «О ежемесячном авансировании колхозников». И верилось: то, что случилось с Федосием Мургиным, больше не случится! Тем юношам, которые выйдут в путь вслед за Сашей Комелевым, может быть, тоже будет трудно, но они не встретят уже подобной трагедии». («Знамя», 1956, № 6.)

Дискуссии по роману выходили за рамки чисто литературных проблем. Так со страниц «Литературной газеты» в статье «В защиту коров» к писателю обратилась группа работников совхоза «Большая Ишта», Коми АССР. Они упрекали Тендрякова в том, что он якобы не понял сути тех трудностей, с которыми реально сталкиваются животноводы. В этом же номере газеты автор выступил с подробным разъяснением: «Конфликт моей повести «Тугой узел» далеко не ограничивается одним лишь вопросом о коровах... «Привередливые коровы» — лишь часть конфликта, никоим образом не решающая, а всего-навсего вспомогательная... Только тогда, когда «животноводческий конфликт» становится по-настоящему, по-серьезному конфликтом человеческим, только тогда он имеет право стать поводом для изображения в литературе, только тогда писатель сможет быть полезным помощником в решении задач нашего времени». (Там же, 1958, 20 марта.)

По сценарию Тендрякова в 1967 году М. Швейцером был создан фильм «Тугой узел».

«За бегущим днем». — Впервые в журнале «Молодая гвардия», 1959, № 10, 11, 12.

«Вспоминаю давнюю встречу с одним деревенским учителем. Одним из тех, кто был в своей маленькой школе и директором, и единственным преподавателем, вел уроки сразу всех четырех классов в одной комнате перед доской, разделенной мелом на четыре части. Человек неглухой и довольно начитанный, любивший стихи, особенно есенинские. Он пошел провожать меня. Остановились за деревней и оглянулись назад. В лучах низкого солнца виднелись разбросанные заснеженные крыши, промятая по полю дорога пропадала за углом крайней избы. Посреди этой занесенной снегом деревни вспучивался лениво над крышами тяжелый дым, должно быть, кто-то сжигал старую солому, но мой знакомый дрогнувшим голосом произнес: «Не пожар ли?..» И вдруг невнятно забормотал что-то... «Вы — что?..» — удивился я. «Ничего, — оборвал он внезапно резко. — Точно...»

...Учитель осознает свою высокую важность, а окружающие иногда этого знать не хотят. Он живет среди тех, кто глубоко равнодушен к нему, — ну как тут не чувствовать себя «в вакууме»! (Тендряков В. Признание. — «Комсомольская правда», 1970, 22 февр.)

Вот, пожалуй, истоки той боли за судьбу учителя, за дело народного образования, которая не давала писателю покоя и заставляла возвращаться к теме воспитания на протяжении всей жизни.

«Я действительно сразу же после фронта работал в школе, но никогда не считал себя профессиональным педагогом, — говорил Тендряков. — Жизнью школы интересуюсь потому — пусть это звучит банально, — что в ней куется наше будущее». («Советская литература», на нем. яз., 1983, № 11.)

Как правило, в прозе Тендрякова нет реальных прототипов. Однако военная биография Андрея Бирюкова повторяет военную судьбу автора. Тендряков делает своего героя связистом, ведет по тем же местам, где проходил сам — отступление задонскими степями, ранение под селом Циркуны на Харьковщине, — заставляет видеть то же, что видел сам: «Под обрывистым берегом жалкой речонки Царицы валялись скованные морозом трупы: изломанные тела, торчащие вверх ноги, скрюченные судорогой кисти рук, и все это переплетено...» Судьбы героя и автора совпадают и в дальнейших поворотах: приезд в Москву, экзамены на художественный факультет ВГИКа, жизнь в общежитии, решительная смена профессии. Рассказы писателя об этом периоде дают основание для такого вывода.

Близок к образу учителя Ткаченко (не по внешнему рисунку, а по разрабатываемым идеям) кандидат педагогических наук В. К. Дьяченко. Директор московской школы М. Ценципер в сво-

ем отзыве на публикацию романа писал: «Озабоченный теми же бедами нашей школы, что и Ткаченко, В. К. Дьяченко выдвинул «метод парно-коллективных занятий». Этот метод испытывался в школе № 308, в школе-интернате № 12. Дьяченко сам рекомендовал учителей в экспериментальные классы...» («Не поспевая за бегущим днем». — «Известия», 1960, 10 марта). А вот что говорил В. К. Дьяченко на обсуждении романа в Союзе писателей: «Я хочу выступить как читатель романа В. Тендрякова «За бегущим днем». Я знал, что роман пишется, знал, о чем пишется, но как будет написан роман, — этого я не знал. Более того, перед тем как прочесть роман, у меня с В. Тендряковым даже возникли некоторые трения. Я побаивался: хватит ли у писателя мужества подняться в защиту и прямо сказать о парно-коллективном методе, об оргдиалоге, вокруг которых сейчас идет спор, конца которому еще не видно. И нужно иметь действительно гражданское мужество, чтобы, разобравшись в этом вопросе, выступить с описанием борьбы, которая проходит вокруг нового метода обучения...» («Будущее нашей школы». — «Московский литератор», 1960, 17 марта).

В этот период Тендряков тесно сходитесь с группой молодых энтузиастов, педагогов-новаторов, ищущих новые формы обучения. Они часто встречаются, спорят, думают о дальнейших путях развития советской школы. Тендряков тоже включается в поиск, превращается в исследователя процесса школьного обучения, в соавтора новых идей и практических предложений.

Критика тех лет в целом доброжелательно встретила роман. Однако были и отрицательные отзывы. В журнале «Нева» в статье «Снисходительность» (1960, № 7) завуч средней школы из г. Асино Томской области Г. Павлов утверждал: «Если художник, изображающий школьную перестройку, хочет быть справедливым, он должен убедительно заявить, что великую перестройку творят массы — массы учителей, общественников, рабочих и колхозников, помогающих педагогам учить детей по-новому, что победами в деле перестройки школы мы обязаны вдохновенному и дальновидному руководству партии». Споры по роману продолжались не один год, роман затронул настолько болезненные вопросы классно-урочной практики преподавания и всей системы обучения в целом, что вышел за рамки просто литературного явления и стал явлением общественной жизни. Сталкивались мнения. Учителя, директора школ, библиотекари, методисты спорили уже не только о художественных особенностях романа, спорили о своем, наиболее остром. Эти споры во многом предвосхитили широкое обсуждение, в которое включилась вся страна при выработке новой школьной реформы.

«Роман «За бегущим днем», как и предыдущие рассказы, повести В. Тендрякова, ставит актуальные проблемы, — указывал

критик В. Панков.— Новаторство осознается автором и его героем как составная часть вопроса о смысле жизни современного человека. Дух исканий, действительность — отличительные черты Андрея Бирюкова. Ими он интересен как личность, как не приниженный «обычный человек»...» («О нравственности и смысле жизни». — «Литература и жизнь», 1960, 3 февраля).

Широкое обсуждение романа, споры, поиски, многолетние раздумья — все это привело к появлению программной работы «Ваш сын и наследство Коменского» («Москва», 1965, № 11). В ней Тендряков указывает на государственную важность поднимаемых им вопросов: «Школа, сама того не желая, благосклонна к посредственности и обижает способных... Больше времени нелюбимому, меньше — любимому. Убивается в зародыше увлечение. И тут-то проблема времени перерастает в проблему творческого становления человека.

Нельзя стать творческой личностью, не пережив увлечения. Только увлечение, которое перерастает в страсть на всю жизнь, страсть, подчиняющую все другие желания и все силы, делает человека целенаправленным, толкает на поиски, заставляет творить... Люди с неразвившимися в детстве духовными интересами — социально опасное явление... Проблема школьного времени — общественная проблема!»

Разговор о школе, о путях перестройки системы образования Тендряков продолжает в последней, вышедшей незадолго до его кончины статье «Школа и самопознание».

«Активное отношение к жизни, — пишет он, — это совмещение неотложных задач с прогнозом на будущее. Потребность в совершенствовании системы образования не случайна — она продиктована этапом научно-технического прогресса XX века». («Школа и самопознание». — «Учительская газета», 1984, 1 марта.)

«В 1959 году Тендряков напечатал роман очень своеобразный, очень личный, не во всем художественно ровный: там авторская мысль и страсть были, паверное, сильнее самих характеров. Но роман удивительный своим предвидением, предощущением тех кардинальных вопросов, что на многие годы займут педагогическую мысль, приведут к спорам, к конфликтам, к сдвигам, самое главное, приведут к тому общественному состоянию, которое выражается ощущением: так больше нельзя. Надо иначе». (Амлинский В. И все-таки я буду искать... — «Лит. газета», 1986, 2 апреля.)

Роман «За бегущим днем» выдержал много изданий, переведен на языки союзных республик, был издан в Венгрии, Франции.

И. Асмолова-Тендрякова

СОДЕРЖАНИЕ

Тугой узел (*Роман*)

Часть первая	7
Часть вторая	71
Часть третья	150

За бегущим днем (*Роман*)

Часть первая	225
Часть вторая	272
Часть третья	361
Часть четвертая	469

Примечания	585
----------------------	-----

Т33

Тендряков В.

Собрание сочинений. В 5-ти т. Т. 2. Тугой узел; За бегущим днем: Романы. / Сост., подгот. текста, примеч. Н. Асмоловой-Тендряковой. — М.: Худож. лит., 1987. — 591 с.

Во второй том Собрания сочинений В. Тендрякова вошли романы, написанные им в ранний период творчества: «Тугой узел» (1956), «За бегущим днем» (1959).

4702010200-348
Т — 028(01)-87 — подписное

ББК 84P7

Владимир Федорович Тендряков

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ПЯТИ ТОМАХ

Том 2

Редактор Н. Иванова

Художественный редактор Т. Самигулин

Технические редакторы Л. Ковнацкая, Г. Моисеева

Корректоры Г. Иванова, О. Стародубцева

ИБ № 4728

Сдано в набор 22.01.87. Подписано в печать 08.06.87. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обычн. новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 31,08. Усл. кр.-отт. 31,08. Уч.-изд. л. 34,16. Изд. № III-2599. Тираж 100 000 экз. Заказ 2382. Цена 2 р. 60 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Васманная, 19.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий», 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.